

АНТОН МАРТИ

## Об отношении грамматики и логики

[59]<sup>1</sup> Под этим названием могут скрываться разные вопросы. Однако здесь мы хотим обсудить только *один* из них, а именно: должен ли грамматист (и если должен, то в каком смысле) учитывать логику? Этот вопрос полагается задавать психологу в той мере, в какой последний, не являясь сам исследователем языка, вместе с тем живо интересуется его развитием и в особенности пограничными вопросами между философией и языкознанием.

То, что грамматике рекомендуется считаться с логикой в ином и особом смысле, чем всем прочим наукам, — это в последнее время решительно оспаривается с одной влиятельной стороны. При этом утверждается, что грамматические категории имеют такое же отдаленное отношение к логике, как, например, категории химии. Учреждать поэтому какую-то особую связь между грамматикой и логикой означало бы порчу логики и разрушение специфики грамматики.<sup>2</sup>

Эту позицию принципиального отрицания указанной связи разделяют не все исследователи. Но даже и среди тех, кто признают необходимость особого внимания грамматики к логике, данное признание фактически не получает ясного и последовательного осуществления, и причиной тому служат определенные недоразумения, которые эти ученые допускают. Оба указанных явления новейшей философии языка мы бы и хотели в дальнейшем подвергнуть критическому рассмотрению. [60]

<sup>1</sup> Вставки в квадратных скобках (здесь и далее) являются вставками переводчика. Приводимая в квадратных скобках пагинация соответствует изданию: A. Marty. *ber das Verh ltnis von Grammatik und Logik* // Anton Marty. *Gesammelte Schriften*. (J. Eisenmeier, A. Kastil, O. Kraus. Hrg.) II. Bd., 2. Abt. Halle a. S.: Max Niemeyer Verlag, 1920. S. 59–99 — *прим. перев.*

<sup>2</sup> Steirthal, *Abri I*, S. 61–72, und *Grammatik, Logik und Psychologie*, S. 163–224: «Язык создает свои формы независимо от логики, совершенно автономно». — «Я считаю невозможным вывести из логики правила, которые были бы приложимы к грамматике». — «В теле языка живет его собственная душа, и никакая логическая душа не может переселиться в душу (в тело?) языка». См.: *Grammatik, Logik* S. 215. Там же можно прочесть и такое: «Если хотя бы *одна* часть речи остается логически (т. е. посредством расчленения суждения) неопределимой, то это уже доказывает, что *никакую* часть речи нельзя определить логически». Ибо язык есть органическое единство и т. д.

I. Что касается, прежде всего, призыва к полной *эмансипации грамматики от логики*, то, по моему мнению, все, что высказывается в качестве аргументов в пользу этого призыва, покоится на смешении различных значений, в которых речь может идти, во-первых, о логическом характере самого языка и, во-вторых, о чем-то логическом рассмотрении языка. Если же эти два момента разводятся, то исчезает всякое основание для указанного призыва.

1. Прежде всего, язык, конечно, *не* является логичным в том смысле, как если бы он был *лишь* выражением нашего мышления или чем-то вроде *необходимого и непосредственного* результата мысли. В языке находят свое выражение не только суждения и лежащие в их основе понятия, составляющие заботу логики, но также наши душевные переживания и волевые решения<sup>3</sup>, наша свободная, поэтическая игра представлений, ориентированная не на познание, а просто на законы мысленных ассоциаций и на удовольствие от прекрасного.

Итак, язык не тождественен мышлению, не является его необходимой обратной стороной, но образован для целей взаимопонимания и приспособлен к мыслям только в той мере, в какой они повелительно требуют от языка считаться с ними. Поэтому язык, будучи непохожим на мысли символом, весьма далек от того, чтобы быть адекватным их отображением и не обнаруживает с мыслями никакого надежного и строгого параллелизма. Имеются очень важные черты в наших суждениях, передачей которых [61] язык последовательно, я бы сказал, принципиально, пренебрегает. Назову только один пример: есть большая разница в том, является ли суждение, которое мы делаем, очевидным или слепым. Но предложение, которое это суждение выражает, не имеет для этого различия никакого языкового коррелята. Исследователь, который *понимает* математическую истину, и неспециалист, который, возможно, ее *слепо* повторяет, выражаются одними и теми же словами. То, что наши высказывания передают с некоторой регулярностью, есть лишь то, что можно назвать содержанием наших суждений. Это значит, они передают материю суждения (лежащие в его основе представления) и его качество, т. е. характер суждения как утверждения или отрицания.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Предложения, содержащие вопрос, пожелание и приказ непосредственно выражают не суждения, но акты интереса, даже если в основе данных актов лежат суждения или — как в случае вопросительного предложения — они образуют предмет интереса. Я просто удивляюсь тому, как Штайнталь, который (а. а. О. S. 169) ссылается на этот факт в пользу полного отделения логики от грамматики, может тут же, не переводя дыхания, утверждать, что *любое предложение* содержит «связь между понятиями, *посредством чего нечто высказывается*». Но как может существовать высказывание, в котором содержание не является суждением? Приказ не является высказыванием, *потому что* он не выражает никакого суждения. — Таким образом, конечно, легко озадачить читателя несоответствиями, однако на самом деле таковых между грамматикой и логикой не существует.

И риторические обращения, которые изъясляют суждения, часто понятны не с точки зрения голого выражения мысли, но только в свете, по меньшей мере, аффекта, сопутствующего выражению мысли, а также сходного аффективного воздействия, которое предполагается оказать на слушателя. Стало быть, эти обращения тоже не совпадают с «логическим».

<sup>4</sup> Ясно, что в материи суждения, выступающей в качестве предиката в суждении о суждении, то есть, в непрямом суждении, явно обнаруживается потоп и очевидность, когда, например, я говорю, что «не существует А и не-А одновременно». Напротив, выражение прямого суждения в форме «А есть» одинаково обнаруживает как очевидное, так и слепое признание.

Но и к *содержанию* наших суждений выразительные средства языка не относятся так, будто *каждому* различию в содержании суждения противостоит какая-то, причем только *одна* в своем роде, особенность языкового выражения. Наша речь почти всегда предоставляет слушателям возможность дополнить и то, и другое. Вдобавок к этому, некоторые наши имена и синтаксические обращения двусмысленны.<sup>5</sup> т. е. в зависимости от обстоятельств могут означать то одни, то другие мысли. И если в некоторых случаях одному и тому же языковому средству полагаются различные функции, то бывает и наоборот, когда для идентичных мыслей в одном и том же языке используется множество названий. И, конечно, совсем уж непозволительно — не замечать, что в разных языках для выражения одной и той же мысли существуют разные *средства* и методы. Нельзя не видеть также, что может вообще существовать еще большее разнообразие всевозможных способов названия [62] для каждой мысли, и что здесь в принципе нет просто правильного, а есть только более или менее целесообразное.

Некоторые, не замечая этого, представляют особые методы языка, который именно им хорошо известен или наиболее тщательно был ими или кем-то еще логически рассмотрен и проанализирован, как нормы для всех выражений мысли, по видимости выведенные из природы мышления. Иногда также, не замечая некоторые из выше приведенных фактов, пытаются на ложной предпосылке о всеобщем и необходимом *параллелизме* между мышлением и речью построить грамматику, которая должна быть «логической». Все такого рода попытки должны быть отвергнуты как насилие над языком.<sup>6</sup>

2. Язык и в том смысле *не* носит *логического* характера, что он не был создан методически, по заранее задуманному плану и системе. Наши народные языки выросли не на основе исчерпывающего анализа подлежащей выражению душевной жизни и не посредством пронизательного оценивания целесообразных способов наименования ее содержания, но первоначально в связи с весьма примитивной душевной жизнью, которую они развивали и благодаря которой развивались сами, шаг за шагом приспособляясь к ней по мере ее совершенствования. Языки возникали из непланового участия многих людей, каждый из которых видел в словах только пособие для сиюминутной потребности во взаимопонимании, а не стремился к созданию языка в целом. Но целесообразность и единообразие, которые все же обнаруживаются в ставшем таковым целом языка, есть результат естественной борьбы за существование и непрерывного отбора наиболее полезного среди всех апробированных средств и методов выражения, а также следствие силы привычки и аналогии по отношению к чему-то уже оказавшемуся однажды пригодным.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Грамматической категории родительного или дательного падежа и т. д. не соответствует какая-то *одна* логическая категория. Одна и та же языковая форма выражает самые разные отношения содержания. Не видеть этого — означает смешивать мысли и выражения.

<sup>6</sup> Часто это одновременно оказывалось и порчей логики, поскольку затрагивалось уже содержание мыслей, тогда как речь шла лишь об особой форме их выражения.

<sup>7</sup> См.: об этом шестую из моих статей «О языковом рефлексе, нативизме и намеренном образовании языка» [ *ber Sprachreflex, Nativismus und absichtliche Sprachbildung* ] в: Ежеквартальный журнал по вопросам научной философии [ *Vierteljahrsschrift f r wissenschaftliche Philosophie* ], XIV, S. 61 ff

Но целесообразность языка ни в коем случае не является полной и всеобщей, да в случае такой структуры, возникшей без общего композиционного представления о частях и функциях частей, [63] иначе и быть не может. Повсюду оставались многочисленные непоследовательности, разрывы, пропуски и всякого рода дистелеологии.<sup>8</sup>

Ведь то, что в случае произведения, выстроенного по единому плану, означает масштаб совершенства, а именно, достигнутая по всем правилам искусства правильность его частей и форм, здесь, в языке, не может запросто считаться действительным. Необходимо отвергнуть в качестве порочного способ «логического» обращения с языком, когда многие излишне стремятся к тому, чтобы подчинить правилам все языковые формы, и когда они расценивают то, что не желает в языке подчиняться шаблонам, как языковые явления второго сорта, как аномалии, даже как языковые ошибки. Но поскольку вся правильность в языке возникла непреднамеренно и в этом смысле случайно, то регулярное не должно изначально в большей мере порождать в нас предубеждение целесообразности, чем нерегулярное. Ведь может существовать какая-то нецелесообразная причуда, временно прижившаяся в языке, но достойная того, чтобы посредством мнимых «ошибок языка» и аномалий быть нарушенной и упраздненной именно теми непланомерно действующими телеологическими силами, которые в других случаях привели к более целесообразным и достойным сохранения регулярным связям.<sup>9</sup> Одним словом, было бы глупо рассматривать [64] живые языки так, будто они были образованы логиками и грамматистами, будто, сообразно этому, их формы в качестве сплошной и гармонически расчлененной системы позволяют дедуцировать себя из единого принципа или даже оправдывать себя как нечто навеки завершенное и необратимое.<sup>10</sup>

3. Наконец, может показаться почти излишним наше специальное замечание о том, что язык нельзя, по нашему мнению, считать логичным и в том смысле, будто только логически правильные мысли могут найти в нем свое адекватное выражение. Но мы все же упомянем об этом, так как существует

<sup>8</sup> К дистелеологиям, на которые можно сослаться в пользу нелогического характера языка, я причисляю, конечно, такие грамматические категории, как залог имени существительного (следствие примитивного, виталистического мировоззрения и связанной с ним персонификации предметов), непрактичную попытку выделить из всех других чисел двойку и тройку при помощи сплетения их знака с существительным и глаголом (двойственное и тройственное число) и т. п.

Двусмысленности и синонимы, рассмотренные исключительно с позиции точного сообщения, следует также считать чем-то воистину нецелесообразным.

<sup>9</sup> Однако может, конечно, случиться и так, что целесообразный метод выражения приходит в упадок из-за небрежности и недоразумения, так что более поздняя стадия развития языка только окольными путями вновь находит для этого подобающую замену. Обо всем этом должно решать специальное исследование, но ничто так не чуждо нам, как согласие с рассмотрением языка, которое, пренебрегая проверкой отдельных случаев, слепо прославляет какое-нибудь наличное его состояние (просто потому, что оно является господствующим в данный момент). Мы далеки от понимания языка, которое близоруко чувствует в нем то, что, возможно, в чисто учебных целях удобнее всего подводится под правило, или желает неразумным способом трактовать различие между «ratio» и «usus» как разницу между логичным и нелогичным в языке.

<sup>10</sup> Конечно, и этот предрассудок, рассматривающий грамматические категории в виде непрерывной системы, может вести к порче логики.

авторитетное мнение, аргументирующее в пользу полной автономии грамматики по отношению к логике: нечто может быть правильным в языке, но с логической точки зрения совершенно неверным.<sup>11</sup> При этом под «логикой» понимают, конечно, совокупность правил правильного и достоверного [einsichtigen] рассуждения, а под «логичным» — то, что соответствует этим правилам. И кто же станет отрицать, что язык и в самом деле не делает в *этом* смысле никакого различия между логичным и нелогичным, одинаково услужливо предоставляя и тому, и другому одно и то же одеяние для выражения?

4. Однако остается и другой смысл логики и логического, в котором все же считается несомненным, что грамматике настоятельно рекомендован особый учет логики. «Логичным» иногда называется именно все то, что особенным образом должно быть интересно логике и что является предметом [65] его исследования, а это все же нечто большее, чем только правила правильного суждения. Ведь дисциплина, носящая имя логики и желающая служить руководством к правильным и разумным суждениям, не может не воспринять в себя надлежащим образом наиболее важные и общие различия в содержании суждений и лежащих в их основе понятий, а также вообще определенные дескриптивные и классификационные знания из психологии суждения и понятийного мышления.<sup>12</sup> Это привело к тому, что, противопоставляя *логическое* языковому или грамматическому, под ним напрямую понимают мысль, означенную посредством языкового выражения (все равно, правильно или неправильно образованную). И как раз *это* понятие логики и логического имеем мы в виду, когда требуем особого внимания к ним грамматиста. Это требование состоит лишь в том, что не только логик, но и грамматист должен в известной степени проявлять заботу о *значении* языковых форм. И когда, вместо того, чтобы говорить о внимании к значению вообще, сразу переходят к разговору об учете логики и логического, то случается это *потому, что среди означаемого нашими языковыми средствами материала безусловно решающую роль отводят суждениям и лежащим в их основе понятиям*.<sup>13</sup> Тем самым, следовательно, отнюдь не отрицается, что для полного понимания функции языка рекомендуется обращать внимание и на аффективную сторону душевной жизни и впрямь рассматри-

<sup>11</sup> Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie, S. 215. В другом месте он уже в совершенно ином смысле подчеркивает, что язык якобы автономен по отношению к логике, — именно потому, что он во многом является не мышлением в понятиях и суждениях, но мышлением, выражающемся в созерцаниях [Anschauungen] и восприятиях [Wahrnehmungen]. С этим я не могу согласиться. Прежде всего, на самом деле, наряду с изъяснением наших чувственных состояний и волевых актов главной целью человеческого языка является как раз оглашение наших суждений и убеждений, а отнюдь не каких-то простых представлений. Но что касается представлений, которые лежат в основе суждений, выражаемых нашей речью, то они *никогда не являются созерцаниями* (ведь созерцания, в строгом смысле, нельзя передать даже при помощи знаков!). Но эти представления суть *понятия*, которые лишь каким-то образом абстрагированы из созерцаний, причем среди таких понятий есть и *понятия созерцаний* (как, например, если я скажу: то, что я вижу и т. п.).

<sup>12</sup> Здесь нет места для подробного обоснования такого понимания задач логики. Мы ограничимся лишь замечанием о том, что это понимание подтверждается примером всех значительных представителей данной дисциплины.

<sup>13</sup> В основе наших душевных переживаний и волевых решений лежат представления и суждения, и на основе сведений о содержании последних характеризуется вместе с тем и содержание первых.

вать язык и с той позиции, где он служит не для изъяснения фактов, а только как орудие искусства — для пробуждения прекрасных представлений.<sup>14</sup> [66] Только вот безусловный приоритет должен при этом оставаться за «логическим» рассмотрением языка — в соответствии с тем обстоятельством, что максимально точное и легко понимаемое сообщение наших убеждений, которое тоже ведь образует необходимый фундамент для воздействия на чужие чувства и решения, является важнейшей стороной языковых функций.

Если некоторые преувеличивают это вплоть до игнорирования любой другой точки зрения, то с этим мы столь же мало соглашаемся, как и с ошибками, о которых мы упомянули выше в пунктах 1 и 2 настоящей главы. Фактически жертвами всех этих упущений и заблуждений, то одних, то других, стали в той или иной форме представители прежней, так называемой логической, всеобщей или философской грамматики. При этом они или совершенно пренебрегли почти всеми генетическими вопросами языка и языков, или ответили на них неметодично и произвольно. Ошибки этого в дурном смысле логического рассмотрения языка спровоцировали позднее и упомянутый выше страстный призыв к полной эмансипации логики от грамматики. Однако страстное усердие оказалось здесь (как, впрочем, и везде) плохим советчиком и слишком далеко увело в отрицании прежнего опыта. Но несмотря ни на что, есть *такой* смысл логики и логического, который мы только что рассмотрели, и в котором грамматические категории стоят ближе к логическим категориям и к логике, чем, например, категории химии. Эти последние подлежат логике в качестве мыслей, для правильного образования которых логика, как практическая дисциплина, устанавливает высшие правила. Напротив, о грамматических категориях можно сказать, что они — по крайней мере, в главных своих чертах — имеют своей целью *выражение и обозначение мыслей*. А судить о том, насколько они служат этой задаче, и выполняют ли они ее более или менее целесообразно — к этому не может оставаться равнодушным ни один исследователь языка в широком смысле. И если бы он позволил себе заняться этим вопросом, то вошел бы тем самым в круг рассуждений о языке, который по своему достоинству должен расцениваться как увенчание всех иных способов его рассмотрения. Ведь язык как продукт и средство [67] человеческой культуры понимается здесь с такой точки зрения, которая составляет истинное благородство языковеда. И если грамматист желает основательно ответить на эти высшие (по своему рангу) вопросы, относящиеся к предмету его исследования, то сделать это он может только при условии, если будет иметь в виду систему мыслей, подлежащих выражению в языке, по крайней мере, будет замечать ее важнейшие линии и вехи. Другими словами, полезно обращать внимание на ту часть логики, где она, как уже было отмечено, пропедевтическим образом воспри-

<sup>14</sup> При чем может статься и так, что с этой художественной точки зрения к языку предъявляются требования, прямо противоположные тем, что выдвигаются с позиции чистого сообщения мыслей. То, к чему логик безразличен (как это часто бывает в отношении так называемой внутренней формы, о которой мы вскоре скажем подробнее) или к чему он испытывает отвращение как к чему-то мешающему (как в случае двусмысленностей и синонимов), — то может быть желанным и даже абсолютно необходимым для поэтов. Язык, удовлетворяющий одному только идеалу логика, был бы эстетически непривлекательным и для поэта совершенно не пригодным.

нимает в себя дескриптивное рассмотрение наших суждений и лежащих в их основе понятий.<sup>15</sup>

Однако мы не хотим далее останавливаться на опровержении принципиального отказа от любого особого внимания [68] со стороны языкознания к логическому. Ведь этот взгляд с очевидностью представляется односторонней реакцией на односторонности противоположного свойства, оказываясь преувеличением, которое в пылу полемики вместе с ложным отбрасывает и правильное.

**II.** Но нам важнее сейчас еще задержаться немного на том обстоятельстве, что даже у авторов, которые в принципе согласны с нашей позицией, данное логическое рассмотрение языка (другими словами, основательное и систематическое познание и изображение функций наших языковых средств) все же фактически приходит в упадок. И причина этого кроется отнюдь не в излишнем увлечении фонетическими аспектами языка или историей его звуков. (Это — тот исключительный случай, который позволяет оправдать себя принципом разделения труда и указанием на то, что фонетическое исследование должно воздвигнуть необходимый фундамент для любого другого исследования языка). Подлинная причина указанного упадка состоит в том, что исследователи пребывают в полной уверенности, будто они занимаются содержанием языка, а на самом деле они в широком смысле смешивают это содержание с чем-то другим, что имеет к нему весьма отдаленное отношение.

Под последним я подразумеваю явления, которые В. ф. Гумбольдт, — не понимая, впрочем, ясно и последовательно их подлинной природы — назвал «внутренней языковой формой». Эта «внутренняя форма» состоит из опреде-

<sup>15</sup> Здесь, однако, надо быть начеку в том смысле, чтобы не позволить «логике» предлагать нам вместо результатов правильного анализа мышления его фиктивное описание, а потом из таких описательных черт дедуцировать якобы необходимые требования к языку. Сюда же относится и случай, когда, например, желают получить точное число и правильную классификацию падежей из кантовского учения о категориях отношения, или когда хотят увидеть в наклонениях глагола три кантовские категории модальности и т. п. К уже подвергшейся выше порицанию ошибке (когда не замечают многозначности и неплановности наших языковых форм и рассматривают их как творение, возникшее по схеме логика и на основе исчерпывающего расчленения структуры наших мыслей) здесь еще присоединяется применение сомнительного анализа и описания мышления.

Эту эмансипацию грамматики от «ложной логики», что значит здесь, от ложного дескриптивного понимания мышления, мы, стало быть, тоже желаем и приветствуем. Мы хотели бы только, чтобы, с другой стороны, под именем «ложной логики» в равной мере подразумевалась и позиция тех, кто с отвращением отвергают любое особое отношение логики и грамматики и желают только за грамматикой признать более тесную связь с «психологией». Здесь уместным было бы еще заметить, что весьма многое из того, что в особенности Штайнталь (См.: а. а. О. S. 164–215) выставил в качестве мнимого противоречия между логикой и грамматикой, причем в пользу полной автономии последней, основывается на ложном описании мышления. Здесь нет места, чтобы показать это в подробностях. Следует лишь заметить, что некоторые моменты с очевидностью связаны со смешением «внутренней языковой формы» и значения, смешением, о котором мы вскоре скажем подробнее. На непонимании истинной природы «внутренней языковой формы» основывается также ложное различение Штайнталем двоякого рода значений наших языковых выражений, из которых только одно (а именно, как раз эта «внутренняя форма», которая, однако, на самом деле не заслуживает названия значения) должно относиться к грамматисту, а другое — исключительно к логике.

ленных представлений, возбуждаемых посредством наших языковых выражений. Причем данные представления не образуют значения указанных представлений, а служат лишь для того, чтобы пробудить значения в соответствии с законами ассоциации идей. Лучшим примером этого могут служить метафоры и метонимии (а любой язык полон ими), которые показывают, *что* конкретно здесь имеется в виду.<sup>16</sup> [69] Кто судно называет «посудиной», кто говорит о «запятнанной чести» или о «чванстве», о «зыбком суждении» или «грубом нраве», кто даже просто сообщает о «слабой позиции сурепного масла» на продуктовой бирже, — тот обыкновенно вначале возбуждает в нас представление, которое само по себе не подразумевается говорящим, но которое в качестве среднего звена ассоциаций ведет к пониманию нами того, что он конкретно имеет в виду. Но точно так же обстоит дело и в том случае, когда в каком-либо языке лисицу называют то «рыжухой», то «хитруней», человека — «мыслителем», брата — «надеждой и опорой», землю — «пашней», луну — «светилом», мышь — «воровкой», а металлы — согласно их цвету.

В некоторых случаях говорящий и понимающий человек фактически не воспринимает содержащуюся в названии метафору или метонимию, хотя он и мог бы, в принципе, их воспринять.<sup>17</sup> Когда мы говорим: «промазать», «согнуть в бараний рог», «выручить» или когда используем выражения «поток речи», «течение мыслей» и т. п., мы часто уже не думаем более о первоначальном значении этих слов. Аналогичным образом, когда мы говорим: «имеется», то не всегда подразумеваем «иметь», или когда употребляем темпоральные частицы вроде «вслед за...», «спустя» и т. п., мы уже не думаем о базисных для них пространственных представлениях, а в случае наречия «просто» не имеем в виду собственно «простоту» и т. д. Внутренняя форма поблекла здесь из-за постоянного невнимания к ней. Привычка непосредственно установила здесь верную ассоциацию между звуком и значением, и

<sup>16</sup> Эти примеры могут исключить еще одно смешение, которое кажется возможным после приведенной выше дефиниции. В качестве представлений, сообщающих понимание, можно как раз назвать и те предварительные представления, которые мы, слушая длинное предложение, формируем о его возможном значении. Эти представления обыкновенно подготавливают понимание, но отнюдь не совпадают с тем, что подразумевалось.

Следует считать преимуществом языка или стиля положение, когда структура и последовательность слов составляющих язык предложений оказывается таковой, что слушатель при построении мысли, которая должна в нем пробудиться, будет быстро наведен на правильный след и не станет слишком долго и беспомощно блуждать между различными возможностями. Или — когда слушатель не должен слишком далеко отклоняться от уже начавшегося связывания идей, чтобы, в конце концов, понять именно ту связь, которая подразумевается говорящим. Языки, которые приучивают понимание смысла к последнему слову предложений, наверняка следует считать в этом отношении менее удачно организованными. Упомянутые различия между языками и стилями мы непосредственно не имеем в виду, когда говорим о «внутренней форме», хотя они некоторым образом связаны с тем, что мы обозначаем этим именем, — по крайней мере, с различиями внутренней формы в сфере синтаксиса.

<sup>17</sup> Известно и то, что в иных случаях их может обнаружить только филолог, а иногда даже и он не в состоянии. Сегодня только лингвисту известно, что, например, слово «compagnon» [компаньон] вышло из представления о совместной хлебной трапезе, «verstehen» [понимать] (verstan) — из представления о «преграждении пути» [den Weg Vertretens] (аналогично), «t nen» [звучать] — из представления о натянутом состоянии. Но некоторые слова даже для лингвиста остаются темными, стали «застывшей лавой», как выразился И. Гримм.



с точки зрения одной только цели понимания об этом никогда не следует жалеть, даже часто [70] это стоит лишь приветствовать.<sup>18</sup>

Однако в иных случаях возникает то, о чем мы только что говорили: к звуку вначале присоединяется представление, которое не подразумевается в сообщении, но должно лишь опосредствовать основное значение. Это представление не является чем-то означенным, но выступает таким же знаком, что и звук.<sup>19</sup>

[71] Нетрудно назвать причину для возникновения этих своеобразных частей языка. Она состоит в том, что звуки языка как знаки наших мыслей и душевных переживаний не подчинены последним: ни в силу естественного механизма, ни посредством заранее обдуманного плана и соглашения. И пос-

<sup>18</sup> Это случается там, где внутренняя форма не просто не нужна больше для реализации внутреннего значения, но даже мешает и вводит в заблуждение. Соответствующие примеры дает, — как это точно отметил и Мадвиг (*Kleine Schriften*, S. 202), — прежде всего, сфера синтаксических средств наименования. Для этих средств является прямо-таки счастьем, когда вследствие разрушения и стирания первоначальной звуковой формы [Lautgestalt] или из-за выпадения однокорневого категорематического [Вместо этого термина Марти позднее использует термин «аутосемантический» [autosemantisch] или «самозначащий» [selbstbedeutend] (*Untersuchungen* Bd. I S. 205) — *Прим. нем. изд.* См.: Anton Marty. *Gesammelte Schriften*., S.70 — *прим. перев.*] выражения внутренняя форма совершенно не воспринимается использующими данный язык людьми. См. также мою работу «Происхождение языка» [*Ursprung der Sprache*], 1987, S. 114.

<sup>19</sup> Поэтому я не могу согласиться с тем, когда Штайнталь называет это представление «собственным содержанием языка» и «непосредственным значением», и когда вследствие этого он говорит о двойственном значении во всяком языковом выражении, полагая, будто в любом выражении «проговариваются сразу два выражения», из которых одно должно быть именно представлением о внутренней форме. Мадвиг (а. а. О. S. 319, 344) тоже выступает против того злоупотребления, когда эти представления называют «собственным содержанием слов», «их подлинным мнением». Это не вяжется с тем, что пробуждение данных представлений в действительности является не целью, а лишь средством языкового изображения.

Но в качестве средства и знака указанные представления могут, подобно звукам, сослужить в известных границах полезную службу и *самому по себе* мышлению. Существует иносказательный способ представления, представление посредством заместителей, и в качестве такого суррогата может, помимо прочего, выступать и внутренняя форма для обозначаемого при помощи ее понятия. Однако Штайнталь безгранично преувеличил этот момент, запросто позволяя всем понятиям быть представленными сознанию посредством внутренней формы (или фонемы) и утверждая, что понятие является не психологической сущностью (т. е. не чем-то действительным), а логическим идеалом (тем, что должно быть). На самом деле, внутренняя форма является понятием, только, как правило, понятием созерцания, причем близлежащих физических феноменов. (Она не есть само «созерцание», как полагает Штайнталь. Можно привести превосходный пример с золотом [Gold], которое первоначально называлось «блестящее» [das Glänzende]. И «блестящее» есть не созерцание, а такое же понятие, что и золото, только менее сложное. Ведь золото в обычном представлении включает в себя, по крайней мере, еще и признаки определенного звучания, тяжести и т. д. Созерцания в строгом смысле — как это уже отмечалось выше — вообще не сообщаемы, а потому не могут служить внутренней формой). Теперь же внутренняя форма должна мыслиться *собственным образом* [eigentlich], чтобы служить суррогатом для некоторого другого содержания. Ибо нельзя прогрессировать в бесконечность этим символическим или иносказательным способом представления, но нужно, чтобы то представление, которое выступает лишь замещающим знаком других, иносказательно мыслимых представлений, немедленно в себе самом представлялось своим собственным образом. Другими словами, для того, чтобы вообще могло существовать мышление посредством внутренних форм, надо иметь также возможность непосредственного мышления какими-нибудь понятиями. Другие основания, по которым это символическое мышление в понятиях ограничивается суррогатом, мы здесь пока учитывать не будем.

кольку они не могут быть ни врожденными, ни изобретенными посредством договоренности, то оставалась только одна возможность для их образования: в случае любой своей потребности люди выбирали знак, который благодаря своему сходству с обозначенным или в силу ассоциации, возникшей по случаю и привычке, мог безо всякого дополнительного поиска пробудить в сознании нужное значение. Но поскольку таких знаков было немного, то, для того, чтобы найти выход для обозначения все большего и постоянно растущего объема выражаемого содержания, неизбежно пришли к тому, что стали с творческой дерзостью использовать не только прямую, но и косвенную ассоциативную силу, коль скоро та давала возможность проявить себя на деле.<sup>20</sup> Люди удовлетворялись, если это случалось и самим по себе неясным и ненадежным способом, который вынужден был обходиться самой щедрой поддержкой со стороны человеческих связей, посредством общности интересов и опыта достигающих взаимопонимания людей, а также со стороны соответствующих особых обстоятельств, благоприятствующих взаимопониманию.

Это составляет первопричину и главную цель внутренней языковой формы. Цель эта состоит в том, чтобы служить ассоциативной связью между [72] звуком и значением и таким образом давать возможность творцу языка посредством относительно ограниченного числа знаков, понятных самим по себе или ставших понятными в силу уже имеющейся привычки, охватить гораздо больший объем содержания.<sup>21</sup> [73] Кто уяснил себе эту истинную при-

<sup>20</sup> То же самое мы постоянно наблюдаем и сегодня, когда необходимо взаимопонимание в обстоятельствах, сходных с теми, что существовали при первом акте образования языка. «В этом супе — много лета», — такое замечание однажды услышал я от одного француза в какой-то гостинице. Подобного рода смелые метафорические и метонимические обращения предпринимают дети из-за их ограниченного словарного запаса, который они формируют отчасти самостоятельно, отчасти заимствуя словарные знаки из языка взрослых.

<sup>21</sup> Как следствие, внутренняя языковая форма используется также для того, чтобы повысить красоту нашего мира представлений и связанное с этим эстетическое удовольствие. Она становится техническим средством поэтической живописи. См. об этом мою работу: «Проблема исторического развития восприятия цветов» [Die Frage nach der geschichtlichen Entwicklung des Farbensinnes] 1879, II, Anhang: «О способности и правомочии поэзии для изображения цветов и форм» [ber Befähigung und Berechtigung der Poesie zur Schilderung von Farben und Formen], S. 141 ff., а также третью статью «О бессубъектных предложениях» [ber subjektlose Sätze] и т. д. в: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, VIII.3, S. 294 ff.

Тот факт, что средства, служащие достижению понимания и эстетическому развитию мира представлений посредством языка, состоят в близком родстве или даже часто совершенно идентичны, — этот факт отмечался многими филологами. Достаточно будет назвать среди прочих *Куртису*: «Основные черты греческой этимологии» [Grundzüge der griechischen Etymologie], S. 100. 111. *М. Мюллер* тоже в этом смысле вполне уместно отнес образование языка к сфере поэтической силы творчества (*a poetical fiat*). В новейшее время, правда, этой мысли, внушенной здравым наблюдением, изменили по образцу *Нуафэ*, — в пользу теории развития понятий, которая очень хочет быть философской, но основывается на полном смешении внутренних форм языка с выраженными мыслями.

Сказанное не исключает того, что некоторые различают (как это еще раньше делал и *М. Мюллер*) между метафорами (метонимиями) примитивного языкотворчества и метафорами (метонимиями) поэта (т. е. между «radical» и «poetical metaphors»). Напротив, различие состоит здесь уже в том, что — как мы отмечали выше — одни метафоры служат нужде, а другие — украшению. И намерение тех, кто эти метафоры использует, в одном случае направлено на *понятность*, а в другом — на *украшение пробужденных представлений*. В поэтических мета-

чину явления, тот сразу же должен увидеть, что в качестве всеобщего закона о его свойствах может быть высказано лишь *следующее*: в роли внутренней формы здесь может быть выбрано то представление, которое воспроизводится легче и удобнее, чем подлежащее выражению содержание. Но выбрано лишь при условии, что оно годится для того, чтобы как-то сообщить мысль этому содержанию, пусть и непрямым способом — сообщить в принципе или в специфических (и даже весьма специфических) обстоятельствах, в которых осуществляется данное сообщение. И как раз эти обстоятельства стали, естественно, в самом разном смысле определяющими для выбора какой-то одной из всех (самих по себе возможных) форм.

К примеру, на исключительно или по преимуществу подражательной степени языка решающим было то обстоятельство, какие черты предмета могли стать быстро и удобно объектом понятного подражания, а таковыми, разумеется, были разные черты, в зависимости от того, какие звуки или жесты служили средством выражения и при каких обстоятельствах.

К примеру, по звуку можно изобразить кошку, подражая ее «мяу», по лицу — подражая тому, как она умывается своими лапками, тогда как изобразить кошку как целое невозможно и таким способом.

Чтобы нарисовать представление о женском существе, глухонемой при необходимости изображает сегодня жест, показывающий две воображаемые шляпные ленточки, застегиваемые под подбородком. В иных обстоятельствах ему уже не придет в голову использовать этот образ и он прибегнет к изображению какого-нибудь другого характерного признака предмета. Именно таким же образом и разные жестовые диалекты, возникшие в различных условиях, обнаруживают неодинаковые внешние и, следовательно, внутренние языковые формы обозначения одного и того же содержания.

Аналогично обстояло дело и в области обычных звуковых обозначений. Там по возможности вначале использовалось то, что уже имелось из понятных знаков такого рода. Другими словами, шло присоединение к тому кругу представлений, который уже был захвачен для обозначения, и от этого по большей части зависело, с какой стороны или из какого отношения была затронута новая часть выражаемого содержания, а также посредством каких промежуточных ассоциаций новое [74] значение было связано со звуковым материалом. Но каким конкретно был указанный круг представлений, — это не определяется просто тем, какие понятия были абстрагированы раньше всего (хотя это,

форах (а это распространяется и на метонимии в самом широком смысле), произведенных поэтом для своих целей, постоянно сохраняются (или должны сохраняться) рядом друг с другом первоначальное и переносное значение слова. В отличие от этого, в естественных языкотворческих метафорах первоначальное значение слов может исчезать и уступать место обычной ассоциации. Об истинном *переносе* значения — и это главное — речь идет как в первом, так и во втором случае. При этом различие между первоначальным и переносным значением может восприниматься с разной степенью резкости. Но там, где совершенно отсутствовало бы сознание двусмысленности, мы имели бы дело отнюдь не с чем-то родственным *poetical fiat*, не с метафорой или метонимией, но только с более или менее грубым смешением значений. Кто в *этом* отношении хочет устанавливать различие между *radical* и *poetical metaphors*, причем в первом случае позволяет творцу метафоры *отождествлять* образ или внутреннюю языковую форму со значением, — тот противоречит сам себе, говоря при этом все же о творении метафоры, то есть о чем-то таком, что родственно поэзии и т. п.

конечно, тоже играло свою роль).<sup>22</sup> Не определяется это и одним только тем, какие содержания люди в первую очередь были заинтересованы изъяснить в языке (ведь эту потребность можно было кое-как удовлетворить и при помощи экспрессивных жестов). Но главным определяющим моментом здесь было именно то, для чего легче всего могли быть развиты и укоренены знаки вроде слов нашего языка — общепринятые звуки, которые, однако, стали понятными отнюдь не благодаря специальному соглашению между людьми. И таковыми определяющими моментами были именно содержания физических феноменов, в особенности те содержания, которые заимствовались из созерцания человеческого лица. Взаимопонимания относительно такого созерцания именно потому легче всего можно было достичь, что оно было открыто для общего и, как правило, продолжительного наблюдения.<sup>23</sup> Часто подлежащие обозначению содержания уже становились к тому моменту предметом общего интереса; а если нет, то на них легко можно было обратить внимание посредством подражающего или указующего жеста. При таких обстоятельствах какой-нибудь звуковой знак мог найти сочувствие и понимание, которых у него не было бы вне этих благоприятных поддерживающих отношений. Со всем этим согласуется и тот факт, что корневые звуки наших языков выражают понятия, которые происходят из созерцания физических феноменов, в особенности, такие, которые абстрагированы из восприятия лица. Эта *prima appellata* использовалась, конечно, как внутренняя форма для бесчисленных новых средств обозначения. Дело — как свидетельствует этимология — выглядело так, что самые ранние обозначения для чувственного и, в особенности, видимого опыта переносились потом самым разным метафорическим и метонимическим способом на другие содержания, которые относились к другим сферам чувственного опыта или вообще не могли восприниматься чувствами, а были доступны лишь внутреннему опыту. [75]

Уже довольно часто отмечалось, что в самых разных языках выражения психических состояний (насколько эти выражения позволяют судить о своем возникновении) были взяты из физической сферы. Отсюда делали вывод, что понятия душевных состояний впервые возникли только после того, как образовались понятия физических явлений, и эти последние понятия мы, получается, должны рассматривать как внутренние формы, служащие для обозначения психических явлений. Но я не считаю этот вывод обоснованным. Ибо кто же может поручиться, что уже до этого психические состояния не назывались посредством жестов? Отчасти это могло происходить при помощи жестов, которые подражали своеобразному протеканию психических процессов. Заметим, что наши словесные названия для душевных состояний тоже ведь часто имеют своей внутренней формой представление о движениях, которые воспринимаются по аналогии с обозначаемыми состояниями — мы говорим, к при-

<sup>22</sup> Поэтому можно высказать в качестве общего правила, что внутренняя форма будет чуть менее абстрактным понятием, чем понятие, подлежащее обозначению.

<sup>23</sup> Мадвиг (а. а. О. S. 72 u. .) тоже подчеркивает, насколько важным было для примитивного взаимопонимания «подтверждение общности представлений посредством их чувственно данных предметов». Поэтому он тоже позволяет всем обозначениям нечувственного опыта опираться на выражение того, что чувственно доказуемо.

меру, о склонности и отвращении, о принятии и отбрасывании, о шатком суждении и т. п. Отчасти же психические состояния могли называться и при помощи жестов, которые каким-то образом копировали связанные с ними произвольные выражения (выразительные инстинктивные движения)<sup>24</sup> и целесообразные действия, к которым они побуждали. Однако наряду с этим жестовым подражанием особо выделилось обозначение душевных актов при помощи общепринятых звуков. По указанным выше причинам, это обозначение обогнали потом наименования для чувственного и, в особенности, для видимого опыта, и к ним указанное обозначение естественным образом потом и присоединилось, перенося их в своих смелых метафорах и метонимиях (каковыми были уже жесты) на сферу душевной жизни.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Подумайте еще о таких выражениях нашего языка, как: erschrecken [(ис)пугать], (sich) erschrecken [приводить (приходить) в ужас]. Первоначально это означало: aufspringen [вскакивать, впрыгивать]; «auf fahren» [вскакивать, подниматься, наезжать]. Вспомните также о: zittern [дрожать]; beben [дрожать, сотрясаться, трепетать]; erzt dt sein [быть в восторге. Ср.: der Zuck – вздрагивание, внезапное, судорожное движение]; jubeln [бурно выражать свою радость]; jauchzen [вскрикивать от радости по поводу чего-либо]; beweinen [оплакивать. Ср.: das Weinen – плач]; bejammern [жалеть, оплакивать. Ср.: der Jammer – громкий плач, причитания, вопли, стенания].

<sup>25</sup> Даже если согласиться с тем, что рефлексия нашего сознания вначале обращалась (в общем и целом) на физический мир, и только потом – на психический, то надо, с другой стороны, признать, что понимание природы примитивным человеком было не чем иным, как виталистическим представлением, аналогичным тому, какое имеет сегодня ребенок. Но данное обстоятельство не вяжется с ростом человеческого интеллекта в понятиях форм, цветов, движений, звуков и т. д. Это развитие способностей включает в себя наличие у человека таких, пусть даже смутных и расплывчатых, понятий душевной жизни, как радость и страдание, любовь и ненависть и т. д. Очевидно, вначале и потом еще долгое время речь шла о такого рода грубых различиях и о слабых зачатках психологической классификации. Многие, или даже большая часть из того, что появляется в примитивном сознании в какой-то связи, отождествляется там. То, что связано в качестве причины или следствия с каким-то состоянием, смешивается там с данным состоянием. И еще один момент нельзя упускать во всех этих вопросах: мыслить понятие – это одно дело, но другое дело – быть в состоянии отдавать себе и другим в этом отчет. В последнем случае даже видным психологам иногда не удается различать между собой элементы психического или отделять их от физического, составляющего что-то вроде содержания психических элементов. Точно также некоторым не удается проанализировать и сформулировать заключение, после того, как оно было совершенно правильно сделано и получило существенное значение в ходе развития мысли.

Сюда не относится также и вопрос о том, когда и как рано пришел человек к мысли о нетелесном носителе своих душевных состояний. Любовь и страдание, страх и надежда вполне представимы в качестве предметов переживания для примитивной рефлексии, а вот их нетелесный носитель – нет.

Подобно тому, как из фактов этимологического исследования был сделан ложный вывод о том, будто понятия психического появились в целом относительно поздно, так и Л. Гейгер (поскольку среди *prima appellata* преобладает в основном зрение или, как он полагал, телесные движения человека и животных) пошел еще дальше, утверждая, что именно эти понятия и были самыми ранними. Однако и этот вывод не является обоснованным. Конечно, можно в целом согласиться с тем, что зрение посредством большого богатства хорошо различимого и многообразно связанного с нашими практическими потребностями содержания в значительной мере обращало на себя растущее внимание человека и его способность к различению. Однако кто вместе с Гейгером без лишних разговоров отождествляет *prima appellata* с *prima cogitata*, – тот упускает из вида, что мысли не составляют тождества с их изъяснением, а всякое изъяснение не было с необходимостью выражением общепринятых зву-

[76] Хорошие доводы в пользу того, что было ранее сказано о внутренней языковой форме (особенно в области наших обозначений для чувственных восприятий и их содержаний) приводит *Фр. Бехтель* в своей интересной книге об «обозначениях чувственных восприятий в индогерманских языках». В этом труде он приходит к выводу, что «все глаголы, выражающие осязание, обоняние, слушание, зрение, вообще ничего не говорят о перцепции как таковой» и что, «полностью не принимая ее во внимание, они вместо нее называют *ту* деятельность, которая предшествует перцепции<sup>26</sup> или выступает ее предметом». <sup>27</sup> [77] От прикосновения и ощупывания были якобы заимствованы осязательные обозначения, от течения (протекания) [Flie en] — обозначения для вкуса, от курения или дыхания — для нюха, от звучания — гораздо более разнообразные знаки для слуха, от освещения и светлости — обозначения для зрения.

Я оставляю открытым вопрос, предоставил ли *Бехтель* все доказательства того, что в индогерманских языках (как можно было бы вслед за этим точнее выразиться) обозначения для деятельности чувств имеют своей внутренней формой в целом два рода представлений. Во-первых, это представление о телесных движениях, которые осуществляют или сопровождают перцепцию, и во-вторых, представление о предметах, посредством которых перцепция возбуждается. Следовательно, все обозначения для деятельности чувств суть, по Бехтелю, метонимии, и ни одно из них не является метафорой.<sup>28</sup> Наверняка из подробных исследований Бехтеля вытекает, что *многие* из соответствующих обозначений являются обозначениями упомянутого типа, и данный вывод представляет собой, без сомнения, достойный благодарности вклад Бехтеля в еще не созданное учение о развитии обозначений или законов внутренней языковой формы. Однако то *объяснение*, которое этот ученый дает отмеченному факту, я не могу признать вполне удовлетворительным. Он полагает, что это объяснение напрямую дано в одном тезисе, который

ковых знаков, как мы их имеем перед собой в корнях языка. И наши подрастающие дети схватывают некоторые понятия раньше того, чем узнают, как эти понятия звучат в языке. Нелишне будет упомянуть также о том, что в чужом языке никто не бывает остроумным, потому что недостаточное владение языком вынуждает человека ограничиться выражением самого необходимого и отказаться от того, чтобы вообще высказывать некоторые хорошие вещи или чтобы высказывать их в привлекательной форме.

<sup>26</sup> Как, например, в немецком языке наименование для *Blicken* [срав. глаг. *blicken* — смотреть, глядеть, взглянуть], т. е. для процесса, который вызывает зрение, дает выражение для самого зрения. [Срав.: *der Blick* — взгляд, взор].

<sup>27</sup> Подобно тому, что, например, латинское слово *lumina* говорит для характеристики глаз (при этом, конечно, сразу же вспоминается блеск и сияние этого человеческого органа). С другой стороны, и блестящие вещи тоже становятся «смотрящими»: к примеру, озеро называют «оком» на лице ландшафта и т. п.

<sup>28</sup> Как, например, в том случае, если бы видение или слышание обозначалось посредством выражения телесного процесса, который воспринимался бы по аналогии с такими актами психической деятельности, как телесная тяга к чему-то вроде признания и любви. Не должна ли здесь сама перцепция, если зрение обозначается при помощи слов «быть острым, проникать» (индогерм.: «ак»), прямо и образно представляться как проникновение, — подобно тому, как мы еще сегодня говорим об «орлином взоре», который *проникает* во все дали (а с точки зрения ученого-исследователя — во все глубины проблемы)? Даже если глухонемой обозначает зрение тем, что растопыривает пальцы в виде буквы «V», — это тоже может быть прямым подражанием процессу.

он, по-видимому, считает чем-то само собой разумеющимся. Согласно данному тезису, язык может обозначать только чувственное (а нечувственное, в крайнем случае, обозначается только в той мере, «в какой оно есть трансформация чувственного [sich aus Sinnlichem umgestaltet]»), причем ощущение [das Empfinden] есть нечто нечувственное, т. е. не воспринимаемое чувствами. Но, по моему мнению, речь здесь идет не о том, *что* наши общепринятые звуковые знаки вообще могут обозначать — ведь окольными путями [78] мы можем все обозначать при помощи этих знаков. Но речь идет о том, какие понятия *прежде всего и легче всего* могли найти в них свое выражение, а потом сослужили великую службу в качестве инструментов промежуточных ассоциаций. И тут сам *Бехтель* приводит интересные данные о том, что не все из этих понятий были понятиями чувственного опыта или были таковыми не все в равной степени. Звук, вкус, запах суть тоже нечто чувственное, однако исследования названных авторов показывают нам, что в одном случае названия для звука могут быть заимствованы от причины звука, от натянутого состояния, вихревого движения, прыжка, взрыва, продувки, битья; в другом же случае указание на источник названий лежит в том способе, каким образно представляется обнаружение звука: как извержение или как выстрел стрелы и т. п.<sup>29</sup> Одним словом, из приведенных *Бехтелем* данных вытекает, что названия для звука имеют своей внутренней формой представления зрения, в особенности, те, по отношению к которым (в силу указанных выше причин) можно было легче всего достичь взаимопонимания.

В какой мере представления внутренней формы, в особенности представления имен, содействуют пониманию (а это, как мы уже ранее заметили, их первичная и изначальная цель, вторичным является их превращение из конструктивной в декоративную деталь архитектуры языка) — в такой мере вполне уместно сравнивать их с описательными дефинициями. Эти последние тоже ведь не сообщают прямо значение определяемого имени, но вначале возбуждают определенные вспомогательные представления, которые годятся для того, чтобы приводить к указанному значению. В этом смысле данные представления сродни загадкам, с тем только отличием, что они нацелены не на затруднение, а на облегчение поиска правильного решения, причем облегчение, которое является для них приоритетом. Четко очерченная дефиниция называет, то *proprium* подразумеваемого понятия, то его род, то его виды или даже примеры. Она указывает также на недвусмысленные аналогии или противоположности, приводит причины и действия обозначаемого предмета или какого-нибудь другого его устойчивого коррелята. [79] При этом она часто обнаруживает лишь случайную связь этого предмета, но связь, которая как раз при данных обстоятельствах дает слушателю желанный ключ к его значению. К примеру, как если бы смысл имени какого-нибудь цвета объяснялся путем указания на то, что определяемый цвет есть цвет, который имеют находящиеся вокруг предметы мебели и одежды.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Иначе (и возможно, точнее) говоря, *протекание звука*, его длительность и угасание, изображается здесь при помощи одной из аналогий, заимствованной от созерцаний зрения.

<sup>30</sup> Этому весьма часто сродни обозначение *infimae species* в ботанической и зоологической терминологии, по крайней мере, в отношении специальной части этих, как правило, бинарных

Именно так в зависимости от обстоятельств выбирается каждая черта в качестве внутренней формы, черта, которая посредством какого-либо отношения к выражаемому содержанию обещает служить для него ассоциативной связью.<sup>31</sup> Часто говорят: «Язык никогда ничего не выражает полностью, но везде подчеркивает лишь то, что более всего бросается в глаза, или то, что кажется языку таковым. Найти эту отличительную черту есть дело этимологии». Если это замечание соответствует фактам, [80] тогда под «отличительной чертой», очевидно, нельзя всегда понимать часть или момент обозначаемого понятия. Нельзя с необходимостью понимать под ней и *proprium* (что значит, другое понятие, которое регулярно сопровождает первое, следовательно, равное ему по объему). На самом деле под указанной отличительной чертой понимается лишь представление, находящееся в постоянной или временной связи с обозначаемым понятием, так что, по крайней мере, при данных обстоятельствах оно может пробудить его ассоциативно. А что касается свойства выделения какой-то черты на фоне остальных, то нельзя думать, что схваченная в качестве внутренней формы черта с необходимостью должна быть той, что *сама по себе* бросается в глаза прежде всех остальных признаков. Но будет достаточным, если она будет таковой с точки зрения того, кто ищет средства обозначения, и с практическим учетом целого круга средств, находящихся для этого в распоряжении. Конечно, та «отличительная черта», которая сама по себе весома и производит длительное впечатление, *при прочих равных обстоятельствах* будет на фоне всех остальных самой подходящей для того, чтобы служить внутренней формой. Ибо и она, и все, что было с ней связано, будет по указанной выше причине более легко воспроизводимым. Но наряду с этим, — как было отмечено, — в значительной мере здесь учитываются специфичес-

ных имен. Значение *Viola palustris*, *Ulex Europaeus*, *Artemisia vulgaris*, *Narcissus poeticus* образуется в действительности оригинальными отличительными чертами *infima species*. К ним следует отсылать того, кому они известны из опыта или обучения. Но имя, — как заметил уже Милье, — самих этих черт не приводит. Когда я подразделяю листья на стрельчатые, овальные, пилообразные и т. д., то все эти эпитеты говорят довольно прямо, что они означают. Совсем иначе обстоит дело с *palustris*, *Europaeus* в приведенном выше примере. Представление, возбуждаемое вначале *palustris*, может иметь и всякий, кому совершенно не известны отличительные черты класса *Viola palustris*, и кто, поэтому, не понимает собственного значения этого наименования класса. Весьма сходной с этой является ситуация, когда, описывая красный цвет, я определяю его как цвет с наименьшим числом колебаний; но такое представление может сформировать себе и человек, от рождения слепой на красный цвет. Такой же была и ситуация, когда в каком-нибудь языке лошадь называли «быстрая», змею — «ползающая», слона — «двузубый», а золото — «блестящее». Не представление о быстром и блестящем было здесь действительно подразумеваемым понятием, но сложное понятие, для которого указанные более простые представления служили только суррогатом и посредником. Именно поэтому в одном и том же языке для данного понятия часто встречаются такого рода разные посредники, заимствованные от той или иной отличительной черты.

<sup>31</sup> Обычная классификация разных случаев употребления слов с переносным значением (метафора, метонимия, синекдоха) легко позволила бы провести параллели с различными средствами четко очерченной дефиниции. Это относится и к древнему разделению οὐωνυα на οὐ. χατῆ ἀναλογαυ (= посредством подобия и пропорциональности) и на οὐ. προζ εν (= посредством связи — когда, например, «здоровым», «милым» называют и то, что является причиной или признаком здоровья, прелести и т. д.).



кие, даже индивидуальные обстоятельства и средства, в которых и при помощи которых осуществляется взаимопонимание.

Если в приведенных выше моментах выбор внутренней языковой формы во многом родственен выбору четко очерченной дефиниции, то все же он отличается от него беспланным и недостаточно сознательным образом своих действий, а также их неточностью при образовании слов. Кто сознательно и тщательно дает описательную дефиницию, тот смотрит на то, чтобы его указание на подразумеваемое значение (по меньшей мере, в данных обстоятельствах, но по возможности и независимо от них) было непогрешимым. Тем самым предлагаемые в дефиниции представления (по крайней мере, *hic et nunc*) могли бы стать конвертируемыми по отношению к возбуждаемым представлениям. Это не всегда выполняется по отношению к внутренней форме национальных языков,<sup>32</sup> поскольку человек, ищущий в [81] наличном языковом материале название для нового представления, может смело удовлетвориться самой слабой связью между знаком и представлением, — связью, которую ему предлагает опыт и сила воображения. К этому добавляется и, возможно, неожиданная благосклонность обстоятельств, которая часто укореняет в языке даже самые двусмысленные и неадекватные знаки искусства.

Сверх того, дающий дефиницию может *четко* отличать приводимые им вспомогательные представления от дефинируемого понятия и называть ту связь, в которой эти представления находятся к понятию. Напротив, общедоступное словотворчество предоставляет эту функцию дополнению посредством связи, устанавливая то, что на деле является лишь метафорой или метонимией, т. е. видимостью значения. Таким образом, правило четко очерченной дефиниции гласит примерно следующее: корреляты часто проясняются при помощи указания на другой корреляты и посредством сообщения об особом отношении между ними. А вот соответствующий закон образования языка просто говорит, что корреляты часто получают одни и те же имена.<sup>33</sup> Подобно метафоре как сокращенному сравнению, можно и синеждоу с метонимией называть, в целом, *сокращенной описательной дефиницией* или попыткой такого рода дефиниции. Однако этот беспечно сокращающий образ действий языка тоже поспособствовал тому, что многие смешивали внутреннюю форму со значением, и как раз это смешение позволило исследованию значения придти в упадок даже у тех ученых, которые добросовестно полагали, будто они действительно занимаются таким исследованием.

<sup>32</sup> Уже в момент своего возникновения эта форма не всегда является четким указанием на значение. Еще более расплывчатой она становится, отрываясь от особых условий ее рождения и рецепции. Этот дефицит конвертируемости по отношению к обозначенному понятию является, помимо прочего, причиной того, почему внутренняя форма может не без большого вреда для понимания служить в широком смысле «заместителем» понятия. Там, где мышление посредством суррогатов должно быть возможным без ущерба для себя, там эти суррогаты должны быть и оставаться строго конвертируемыми по отношению к тому, что посредством их представляется.

<sup>33</sup> Подумайте о «*riechen*» [чуять, издавать запах] по отношению к *Geruch verbreiten* [распространять запах] и *Geruch perzipieren* [воспринимать запах]; о «*sehen*» [глядеть, выглядеть] по отношению к: *gesehen werden* (в смысле «*aussehen*» [выглядеть]), а также о тысяче других подобных случаев.

Указанное смешение проявляется в той или иной форме у многих именитых филологов и философов. Ниже мы приведем только некоторые из самых ярких примеров такого смешения:

1. Прежде всего, мы встречаем его у В. фон Гумбольдта, когда он внутреннюю языковую форму называет мировоззрением. Ибо то, что действительно заслуживает этого имени, есть, скорее, зафиксированные в языке классификации и понятийные [82] выражения вещей. Сумма значений наших имен, а также высказывания действительно представляют собой мировоззрение народа, который говорит на данном языке, и правильно утверждалось, что вместе с языком ребенок учит популярную философию своего времени. Каждый язык — это руководство для образования понятий и классификаций, и ничто не сравнится с ним в этой функции. В каждом языке живет несколько иное по сравнению с другими языками мышление и понимание вещей.<sup>34</sup> Однако от этого унаследованного качества, которое выпадает на долю каждого, кто вырастает в данном языке, и которое обнаруживает громадные различия в идиомах народов, стоящих на разных ступенях интеллектуального развития, следует четко отличать наследство внутренних языковых форм. Это наследие, подобно остаткам одежды гусеницы на бабочке, присуще переданным по традиции формам языка. Если некто называет и *это* особым мышлением, различным в зависимости от места, если он в связи с *этим* утверждает, что различные языки обнаруживали совершенно разные типы понимания, тогда «мышление» и «понимание» имеют здесь совершенно иной смысл, чем прежде. Они не являются понятиями и суждениями, означенными при помощи средств языка, как не являются они и пониманием в смысле серьезно задуманных, теоретических или практических классификаций, а также толкований предметов со стороны нацеленного на истину исследователя или практика. Напротив, они суть мышление в смысле особенностей игры фантазии, своеобразного использования законов ассоциации идей, — отчасти с целью достижения понимания, отчасти же для производства эстетически выразительного украшения в языковом изображении. Таким образом, речь идет о понимании и подведении под понятия [Subsumieren] посредством фантазии, о «мировоззрении», понимаемом в том же или родственном смысле, какой мы имеем в виду, когда говорим о мировоззрении поэта и сказочника, или того, кто выдумывает загадки и остроты.<sup>35</sup> Одним словом: в [83] раз-

<sup>34</sup> Отсюда — трудности перевода с одного языка на другой, даже если вовсе отсутствуют поэтические украшения. Различные языки обозначают, например, посредством простых имен очень разные понятийные синтезы, в зависимости от особого направления опыта, а также от теоретического и практического интереса, который способствует именно таким синтезам. Это иногда вынуждает переводчика приводить обременительные описания или вообще отказываться от полностью адекватной передачи предложенного в оригинале понятия. Однако это есть нечто совсем иное, чем неодинаковость внутренней формы соответствующих языков.

<sup>35</sup> Рассудочно-сухой и живо-поэтический способы письма выражают одно и то же, те же понятия, теоретические и практические истины, однако поэтическое письмо делает это привлекательнее в силу удачно выбранных средств изображения, а к ним, главным образом, относится внутренняя форма. Ее неодинаковость в различных языках объясняет трудность перевода поэтических произведений, а также трудность перевода вообще в сфере остроумного и приукрашенного слога.

личных языках, наряду с многочисленными выразительными средствами, которые отнюдь не перекрываются по своему значению, всегда имеются более или менее строгие и полные синонимы, все различие которых заключено во внешней и внутренней форме, а не в выраженных мыслях. И только на смешении выражения мыслей с представлениями внутренней формы могло основываться отрицание указанной синонимичности языковых средств и ложное утверждение, будто каждый язык «является» в такой же мере и «своеобразным миром понятий», что из-за разницы языковых значений якобы не может быть ничего общего между языками, что даже нельзя предпринять попытку построить так называемую всеобщую грамматику.<sup>36</sup>

Конечно, указанное смешение имеет место и тогда, когда недооценивают или не замечают то обстоятельство, что налицо синонимы в одном и том же языке, что и здесь есть *πολυωνυμία* в двойном смысле. Гумбольдт истолковывает тот факт, что в санскрите слон называется то «двuzубый», то «дважды пьющий», то «однорукий», как ситуацию, когда один и тот же предмет называется различными понятиями. Такое истолкование факта не представляется мне ясным и правильным. В действительности здесь ведь обозначается не просто один и тот же предмет, но также одно и то же понятие. Иначе обстояло бы дело, когда мы тот же самый предмет, то неопределенно называем «животным», то более определенно — «собакой», или еще точнее — «пуделем». Здесь называется, правда, один и тот же предмет (определенное животное), однако посредством разных понятий, а потому при помощи имен с различным значением. Имена называют то же самое, но означают они разное (различные понятия), не являясь при этом синонимами. В прежних случаях, напротив, имена не просто называют, но и значат одно и то же. Они пробуждают [84] одно и то же понятие и лишь выбирают разные средства и метони-

<sup>36</sup> Так, Штайнталь утверждает в одной из своих статей о слове «*Pott*» [горшок] (*Zeitschrift für Völkerpsychologie* I, S. 295 f.): «Вряд ли в каком-нибудь языке существует еще такое слово или форма, которые были бы полностью подобны по своему значению слову или форме другого языка». S. 299. См. также: 326 u. .

<sup>37</sup> Нуарэ, который тоже смешивает оба этих факта, упрекает аристотелевскую логику за то, что она якобы заблуждалась, принимая имена за знаки вещей. На самом деле, — утверждает Нуарэ, — знаки, скорее, выступают знаками наших понятий и представлений о вещах, однако впервые это было осознано только в новейшей философии. (Учение Канта и происхождение разума [*Die Lehre Kants und der Ursprung der Vernunft*], 1982, S. 368).

На самом деле, представители аристотелевской логики, вопреки их положению: «*Vocabula sunt notae rerum*», отнюдь не умаляли значения того факта, что имена в известном смысле являются и знаками наших понятий. Более того, в том как раз и состоит их учение, что имена более непосредственно выступают знаками понятий, тогда как в иных случаях они являются непрямыми и промежуточными знаками. Имена — и это было совершенно ясно для аристотелевской логики — могут быть названы знаками чего-то в разном, а именно, двойном смысле, — в зависимости от того, *означают* они или *называют* это. Последняя функция опосредствована здесь первой. Имена суть знаки наших понятий или представлений, пробуждаемых в нас этими именами. Высказывание имени есть средство вызвать у слушателя определенное понятие, поэтому данное понятие называют *значением* или смыслом имени. Звуковой комплекс, который не пробуждает никакого понятия, является для нас «бессмысленным»; а такие звуковые комплексы, которые вызывают одно и то же понятие, называются равнозначными или синонимичными. Если спрашивают, что *называет* имя, то имеют в виду не понятие или представление, но их предмет — то, что примерно соответствует им в са-

мические облачения, чтобы подвести к этому понятию.<sup>37</sup> Это, как если бы я, говоря о деньгах, с болью называл их то «желтыми птицами», то *nervus rerum*. Имена здесь, вопреки неодинаковости сопровождающего понятие образа, являются строго синонимичными.

В других случаях можно сомневаться в том, заключено ли все внутреннее различие определенных обозначений только в сопровождающих представлениях, или, скорее, имеет место едва заметная нюансировка [85] значения, приводящая к тому, что одно имя предпочитают употреблять именно в таких, а другое имя — в иных случаях.<sup>38</sup> А там, где (как это часто случается в общепринятом словоупотреблении) значение расплывчато, часто оказывается вообще невозможным четкое решение вопроса. Однако это совсем не мешает тому, что в других случаях совершенно недвусмысленно и без всякого сомнения имеют дело с синонимами при простой неодинаковости внутренних языковых форм, и что вообще эту разницу следует отличать от разницы значений. Это — очевидное заблуждение, когда заявляют в качестве принципа, что каждая вещь может иметь только *одно* имя. Существует *πολυωνυμία*, которая одновременно является строгой синонимией. Этот факт очень хорошо понятен из бесплановости возникновения языков, а также из того обстоятельства, что при их образовании и использовании очень скоро наряду с мотивом голой нужды проявлялось и внимание к эстетическим моментам, к приемлемости чередования звуков и привлекательности меняющихся образов и сравнений при возбуждении одного и того же понятия. Каким бы преувеличением это ни казалось, но известен факт, что у арабов существует 50 названий для львов, 24 названия для лошади, 200 — для змеи и более тысячи — для меча. И этот факт наличия множества имен для одного и того же по-

мой действительности. Однако при помощи звуков нашего языка предметы называются только *mediantibus conceptibus*, как верно выражалась старая логика. Они называются так *при посредничестве понятий* и как то, что схватывается понятиями в предметах.

Именно этот и никакой другой смысл имеет положение «*Vocabula sunt notae rerum*», и нет никакого повода к его порицанию у того, кто данное положение не истолковывает превратно. То, что *предмет* при посредничестве различных — более или менее полных — понятий может получить различные названия, — этот факт, стало быть, уже давно известен. Новым является смешение этого факта с чем-то совсем другим, а именно, с той ситуацией, когда *одно и то же понятие* часто получает свое звуковое выражение посредством разных внутренних форм, и невозможно быть настолько осторожным, чтобы полностью предотвратить или исключить такое смешение. Дабы не подавать для него повода, я не стал бы, например, при помощи слова «*Pott*» [горшок] обозначать как «основание названия» внутреннюю форму, ибо такое обозначение лучше подходит *понятию* (представлению, классификации), при посредничестве которых предмет называется.

<sup>38</sup> Если, к примеру, имя «*Stadt*» [город] заимствуется, или от «проживания» [*Wohnen*] (*οἶκος*), или от людской толчеи (*πολις*), или от укрепленного положения, или, возможно, от каких-то других представлений, то с этим могут быть связаны различия в употреблении, которые не позволяют названиям выступать в качестве строгих синонимов. Однако эти различия часто образуются лишь задним числом, после первоначальной синонимии. Может, конечно, быть и так, что нечто, при тщательном употреблении, тщательно различается, однако в иных случаях, когда такая точность обременительна или необязательна, рассматривается полностью синонимичным. К примеру, слова: *schreiten* [шагать, идти], *gehen* [идти] и (*швейц. тоже*) *laufen* [бежать, идти] в одних случаях мы употребляем раздельно, а в других — без всякого различия, так что на время особенность представлений, которые присоединяются к первому и последнему слову, низводится до уровня простой внутренней формы.

нения можно на многочисленных примерах показать в любом языке, и он вполне объясняется из особых теоретических или практических интересов народа к соответствующему предмету.

2. Л. Гейгер (а также Нуарэ, на которого он оказал влияние) придерживаются мнения, что все переносы звукового знака с одного понятия на [86] другие — в том виде, в каком эти переносы значений в особом изобилии обнаруживаются на самых ранних, исторически доступных исследованию, стадиях развития языков — в действительности объясняются смешением этих понятий.<sup>39</sup>

Я и в этом вижу лишь результат характерного для данных исследователей смешения внутренней формы и значения. Конечно, примитивное сознание формировавших язык людей еще не делало многих различий, которые обычны для современных людей, и точную аналогию этого мы можем проследить сегодня по мере взросления ребенка. Последний обходится меньшим, чем мы, взрослые, количеством обозначений именно потому, что он меньше нас различает. Но это еще не все. В значительной мере его ловкое обращение с относительно скудным словарным запасом основывается на смелом метафорическом и метонимическом применении слов.<sup>40</sup> И точно так же [87] в случае переносов значений, которыми богаты детские стадии языкового развития человеческого рода, мы часто имеем перед собой, несомненно, сознательные двусмысленности. Мне трудно, например, поверить в то, что

<sup>39</sup> Я удивляюсь, когда и от *В. Шерера* слышу напоминающий мне учение *Гейгера* тезис, что мы, спускаясь, насколько только можно, в глубь предистории языка, находим, что фонетически идентичное по обозначению совпадает и по своему понятию. *Фр. Бехтель* тоже разделяет этот тезис. Но на самом деле тем самым лишь утверждается, что первоначально не было ни одной полностью случайной двусмысленности, но всегда существовало транзитивное отношение между многозначным применением одних и тех же звуков; другими словами, что отношение по аналогии (или какое-нибудь другое отношение) связывало различные понятия, соединенные с одним и тем же знаком. С этим несколько смягченным и вполне добротным толкованием проблематичного тезиса согласуется и то обстоятельство, что Бехтель в качестве лозунга для своих исследований выбрал высказывание Жана Поля: «Язык есть словарь поблекших метафор». Если переносное употребление знаков, являемое нам этимологией (к примеру, обозначение звука [des Tones] как изливания [Ergie ung], как пущенной стрелы), действительно должно заслуживать имя метафоры (позднее, правда, в большинстве случаев выцветающей), тогда тем самым яснее всего признается, что ее создатель не просто смешал соответствующие понятия, как это полагал *Гейгер*. Кто, смешивая голубое с фиолетовым, называет их одним именем, кто имя «круг» переносит и на эллипс, поскольку он их не различает, тот не создает метафоры. Не создается она и в том случае, когда кому-то приписывается остроумное сравнение, поскольку он напрямик отождествляет сравниваемое. В этом случае речь тоже не идет о метафоре, как бы комически ни действовало указанное смешение на того, кто его в качестве такового воспринимает.

<sup>40</sup> Самым ярким примером (среди прочих других) кажется мне как раз *тот*, который *Штайнталь* (*Zeitschr. f. r. v. l. psychol.*, I, S. 325) приводит, скорее, в пользу противоположного утверждения. Имеется в виду случай, когда отец, ввиду отсутствия своей жены, сам распределяет за столом кушанья, в связи с чем его примерно трехлетняя дочурка замечает: «Сегодня наш папа — мама». Отсюда не следует, что с именем «мама» ребенок не связывает *никакого другого* представления, кроме распределения еды за столом, что «он, правда, видел, но едва заметил», что «папа иначе одет, чем мама» (разве такие вещи не способен заметить трехлетний ребенок?!). Напротив, отсюда с очевидностью следует, что девочка очень хорошо отличает папу от мамы, но только метонимически называет его мамой, поскольку он исполняет обязанность, которая обычно свойственна маме. И только потому, что «ребенок ничего не знает о различии полов, о совокуплении, зачатии и деторождении», мы можем, конечно, поверить ему на слово.

индогерманский корень *ak*, означающий «быть острым, проникать», применяется в качестве названия для зрения только потому, что оба эти свойства люди непосредственно смешивают, что они прямо отождествляют зрение со свойством быть острым, и, наоборот, «остроту» рассматривают как зрение. Столь же трудно мне поверить, что обычный человек просто грубо смешивает значения, когда он говорит не только о глухих ушах, но и о пустых орехах [tauben N ssen], о бесплодных членах [tauben Gliedern], о злой крапиве [tauben Nesseln], о пустой породе [taubem Gestein] и т. д., или когда он такие прилагательные, как слепой, горький, сладкий, мягкий, твердый и т. д., применяет различным образом вне пределов их первоначальных значений. И когда *Гейгер* прямо-таки желает, чтобы различие таких понятий, как «видеть» и «быть острым» познавалось людьми только в результате случайной дифференциации связанного с ними звукового знака, тогда мы имеем здесь предположение, которое отказывается от всех средств, с помощью которых можно как-то понять прогресс и развитие нашей умственной жизни, а значит, и самого языка. В таком случае мы бы воистину стояли перед непостижимыми тайнами.

Столь же мало я могу согласиться и с другой точкой зрения, которая полагает, будто открыла в *такого* рода этимологии истинное происхождение наших понятий, когда при расхождении обозначений в процессе развития мы сразу имели бы перед собой и дивергенцию (перестройку или преобразование) обозначенных понятий.<sup>41</sup> [88] Подобные идеи развивает и *М. Мюллер*, и его последнее сочинение «The Science of Thought»<sup>42</sup> желает быть, в сущности, иллюстрацией и обоснованием этой мысли. Не без глубокого удовлетворения по поводу якобы совершенного им открытия, автор резюмирует следующим образом результаты своих размышлений: «Будучи некогда далеким, таинственным и чудесным, язык стал ныне совершенно простым и понятным. Дайте нам 800 корней, и мы можем объяснить ими самый большой словарь; дайте нам примерно 121 понятие, и мы объясним ими 800 корней. Даже эти 121 понятие позволяют свести себя к еще меньшему числу понятий, если поставить перед собой такую цель... Когда мы видим, как много специальных значений могут быть сведены к одному-единственному корню, как, например, к «I» (идти) или «PAS» (укреплять), тогда предположение, что дюжина корней могла произвести нам все богатство нашего словаря, уже отнюдь не кажется само по себе смешным, как полагают многие. Свести *все наши мысли примерно к 121 понятию*, а все сло-

<sup>41</sup> Конечно, в известном смысле этимология и история языка дают ценные разъяснения относительно истории понятий, однако совсем в другом смысле, чем здесь предполагается. Историческое исследование языка может выяснить, какие понятия в известные периоды были знакомы народу, а какие — нет. И негативные ключи такого рода тоже будут надежными, если можно с уверенностью допустить, что соответствующие мысли, в случае, если бы они имели место, сохранили бы свое название в каком-то особом, дошедшем до нас корневом звуке и тем самым оставили бы после себя след в языке. Языки могут, таким образом, считаться древнейшими свидетельствами интеллектуального и нравственного состояния народов, а также их взаимной связи. Но это в корне отличается от того, что, к примеру, *Макс Мюллер* желает сделать из языков для *психологии и теории познания*.

<sup>42</sup> «Das Denken im Lichte der Sprache [Мышление в зеркале языка]». Aus dem Englischen von E. Schneider, Leipzig 1888.

ва нашего языка – примерно к 800 корням, – это и есть прогресс научной мысли».<sup>43</sup>

[89] Открытие относительно небольшого числа корней, к которым восходит словарный запас наших индоевропейских языков, я бы тоже поприветствовал (коль скоро оно удалось бы) как важное и радостное достижение. Но иначе должен я оценить мнение М. Мюллера (а в этом, без сомнения, состоит смысл его слов), будто рука об руку с проникновением в этимологию наших слов он постигает и происхождение наших понятий. Иным будет мое мнение и в том случае, когда там, где я, прежде всего, вижу властную необходимость и искусные приемы *обозначения*, М. Мюллер уже находит решенными все загадки аналитической психологии. И тем более не согласен я с Мюллером, когда в связи с этим он делает вывод, «о котором еще не отважился подумать ни один философ», а именно, что *язык* является, если не единственным, то все же *главным предметом философии*, – подобно тому, как события составляют предмет историографии. Согласен, что поиск последних элементов всех наших понятий, а также их возникновение, является одной из главных проблем философии. Согласен и с тем, что философия может получить от этимологии и истории языка некоторые весьма полезные советы. Однако мне все-таки кажется большим заблуждением, когда известный исследователь санскрита полагает, будто проблема происхождения понятий совпадает с исследованием языковых корней, или что ее решение идет параллельно с данным исследованием. Одно дело – вывести друг из друга обозначения, и другое дело – свести друг к другу обозначенные при этом понятия. Как последнее может идти рука об руку с первым – это мне в широком смысле совершенно не понятно. Действительным достижением этимологического исследе-

<sup>43</sup> а. а. О. S. 503. Аналогично – S. 383: «Мало что еще может быть столь униженным и одновременно столь возвышенным, как это малое число понятий, из которых развились все наши мысли и слова. Все выдающиеся произведения человеческого духа, которыми мы восхищаемся, ...вся наша литература, вся наша духовная жизнь построены всего лишь из 121 кирпичика». «Наука о мышлении... с уверенностью... заявляет, что может свести любую мысль, какая только озаряла человеческий дух, примерно к 121 понятиям» (!). Эти понятия, которые М. Мюллер называет еще *idées mères*, фундаментальными понятиями и т. п., перечислены на стр. 371 его книги; это – такие понятия, как копанье [*Graben*], сражение [*Fechten*], измельчение [*Zermalen*], точение [*Sch rfen*] и т. д., которые этот известный исследователь, как он полагает, открыл в качестве исконных значений индогерманских корней. С их открытием, – считает М. Мюллер, – получила свое разрешение старая философская задача, как она была поставлена Локком и другими мыслителями, а именно: показать происхождение и последние элементы всех наших мыслей. Тем самым в науке о мышлении был сделан шаг, о котором «поволяли себе когда-либо мечтать только немногие философы». (См. также: S. 196).

Ранее М. Мюллер, говоря о *poetical fiat* и считая это источником словообразования, развивал учение, противоречащее выше сказанному, однако намного более здоровое в своей основе. К счастью, о Мюллере (как и о некоторых других авторах) можно и сегодня еще сказать, что, по крайней мере, его практика намного лучше, чем его теория.

Характерное для М. Мюллера отождествление происхождения наших понятий с происхождением слов встречаем мы и у Вундта. К примеру, когда он (*Logik I, S. 33*) утверждает: «Из небольшого запаса первоначальных представлений, выраженных в корнях языка, возникает обширная система понятий, которой располагают наши языки» (!). Но это утверждение, в сущности, совпадает с тем, что говорит Мюллер, разве что с тем только отличием, что Вундт в других местах своего сочинения не придерживается последовательно этой мысли.

дования может быть лишь познание того, каким образом (на основе понимания законов передвижения, [90] расщепления или утраты звуков) идентичные звуковые формообразования [Lautgebilde] постепенно стали носителями разнообразных, часто далеко отстоящих друг от друга значений, как одно значение последовательно использовалось при этом как указание или внутренняя форма для другого значения или сразу нескольких значений. Можно, конечно, назвать это «расхождением значений в ходе развития»; но только следует иметь в виду, что под «значением» [die Bedeutung] надо при этом не просто понимать обозначенную мысль, но видеть, что данное выражение стоит здесь в форме отглагольного существительного и есть то же самое, что и «означивание» [das Bedeuten] (функция обозначения [des Bezeichnens]). Только в *этом* смысле этимология есть история взаимного перехода значений. Однако было бы грубым смешением – напрямую выводить отсюда расхождение *означенных* понятий в процессе развития.

Так, например, выражение «охватывать [umschließen] что-нибудь рукой» (Begreifen)<sup>44</sup> стало внутренней формой для обозначения понятия «Einsehen [просмотр, понимание]» или «Verstehen [понимание]». Но глупо было бы полагать, что понятие этого психического процесса стало результатом превращения или совершенствования понятия физического процесса. Указанное первое понятие, скорее, должно было, как и все другие понятия психического, быть *sui generis* абстрагировано из опыта, и только ради напрашивавшейся аналогии, уже к тому времени общеупотребительное обозначение чего-то психического было перенесено на новое и *toto genere* отличное представление.<sup>45</sup> Стало быть, только *нафечение* [Namengebung] указанного содержания, а не его понятийное постижение, дивергировало в процессе развития. Так же обстояло дело, например, когда значение индогерманского корня *tan* (spannen [натягивать, напрягать]) стало внутренней формой для обозначения понятия «Тон [тон, звук]», а также в тысяче других подобных случаев. Короче говоря, источником простых понятий были сообразные с ними созерцания. И даже если сложные понятия возникли при этом из простых (подобно тому, как слова возникли из сложения и слияния корней), то этого еще очень мало для утверждения, что каждый корень языка обозначал именно *это и только это простое понятие*, и что сложение мыслей шло строго параллельно со сложением языковых [91] корней. Кто, следовательно, так или иначе, и притом в радикальной форме, все-таки отклоняет данную параллель, но утверждает вместе с тем, что наши понятия якобы всегда развивались как наши обозначения, – тот рисует ложную картину происхождения понятий. Тот должен тогда, помимо прочего, пытаться делать невозможное: сводить друг к другу и простые понятия, каждое из которых могло быть *sui generis* получено только из созерцаний. Он должен тогда понятия звуков выводить из понятий, относящихся к содержанию зрительных восприятий, а понятия психической сфе-

<sup>44</sup> Begreifen охватывание, ощупывание, но также – понимание, осознание. Ср. также русск.: обнимать и понимать – прим. перев.

<sup>45</sup> Аналогии могут ведь существовать (и замечаться в качестве таковых) между тем, что *toto genere* различно: длина времени, длина пространства; светлые тона, светлые краски; король на шахматной доске, король в королевстве, король зверей, железнодорожный король и т. д.



ры — из физических понятий, путем их превращения или преобразования. А это означает то же самое, что объяснять слепому понятия цветов или пытаться собрать с дуба виноградные лозы.<sup>46</sup>

3. До сих пор мы имели в виду примеры внутренней формы, в основном взятые из области простых имен. Однако нечто аналогичное обнаруживается и в тех частях речи, которые служат образованию сложных имен, выражению суждений, их соединению и т. д., — одним словом, служат тем средствам обозначения, которые образуются в [92] широком смысле синтаксическим путем. А под синтаксисом я понимаю любой случай, когда объединение знаков (независимо от того, будет ли оно столь же плотным, как в склонениях, спряжениях, суффиксах и префиксах по отношению к основам слов, или более подвижным) обладает значением, которое не образуется простой суммой значений составляющих его элементов, и когда возникает такой способ означивания [*des Bedeuten*], который не является самостоятельным, но выступает лишь со-означиванием [*Mitbedeuten*]. Это было необходимым следствием беспланового образа действий, каким наши языковые средства вообще пришли к своим функциям, так что это синкатегорематическое [*synkategorimatische*] применение звуковых знаков могло развиваться только в завершение уже существовавшего до этого категорематического их применения.<sup>47</sup> Так называемые грамматические формы, флексии, частицы и т. д. в целом вышли из имен или даже из примитив-

<sup>46</sup> Если бы в случае возникших посредством синтеза понятий кто-то стал говорить об их превращении, то в этом был бы определенный смысл. Как показывает история языка, часто сложение понятий, образующее значение выражения, изменяется весьма постепенно, вбирая в себя, вначале в очень расплывчатой форме, одни моменты и освобождаясь от других. Это можно назвать заметным в истории языка превращением [*Umwandlung*] понятия, хотя, точнее, и здесь следовало бы говорить о последовательности [*Sukzession*] и смене [*W echsel*] нескольких понятий, с которыми все время был связан один и тот же знак. Напротив, в случае простых понятий было бы совершенно бессмысленно говорить об их взаимном превращении. Говорить о «творении нового понятия посредством старого имени» бессмысленно, и утверждается такое лишь вследствие полного непонимания различия между языковой формой и значением.

Рука об руку с этим непониманием идет у *М. Мюллера* безмерно завышенная оценка влияния языка на мышление. В заключение цитированного выше сочинения М. Мюллер заявляет, что результатом его размышлений является следующий вывод: мышление невозможно без языка, ибо язык — живой орган мысли. Мы думаем нашими словами, — подобно тому, как мы видим нашими глазами. (S. 502, сравн.: 469). Такого же мнения придерживается и *Нуафэ* (а. а. О. S. 300 и .): Язык — это не одежда, а *тело разума*. Всеобщие понятия обязаны своим существованием единственно только звуковым формообразованиям, которые мы называем словами, и стали возможны только благодаря словам. К схожим преувеличениям и по аналогичным причинам пришли также *Штайнталь* и *Вундт*. См. об этом третью статью: «О бессубъектных предложениях» и т. д.: а. а. О. S. 313 340.

<sup>47</sup> Я называю категорематическим знаком или именем то слово или комплекс слов, который сам по себе пробуждает полное представление и благодаря его посредничеству называет определенный предмет. А к синкатегорематическим знакам я причисляю все те, которые только вместе с другими составными частями речи обладают полным значением. Это происходит различным образом: к примеру, данные знаки помогают пробудить какое-то понятие (а значит, являются лишь частью одного имени), участвуют в оглашении суждения (высказывания) или способствуют изъяснению душевного движения и волевых актов (просительных или повелительных формул и т. п.). См. также мою работу: «Происхождение языка» [*Ursprung der Sprache*], S. 107, а также «Исследования ...» [*Untersuchungen* ], S. 205 f.

ных предложений. При этом вначале их употребление еще сопровождалось пробуждением их раннего, в каком-то смысле родственного значения. Поначалу это значение еще осознавалось и наряду со связью всех обстоятельств содействовало тому, чтобы привести слушателя к новому смыслу, который он отныне должен был связывать с данным выражением. Таким образом и возникала синтаксическая внутренняя форма. И хотя здесь эти реминисценции по разным основаниям и вместе со значительным сокращением объема звуковой фигуры [Lautgestalt] обычно выцветали быстро, уступая место сугубо прямой ассоциации между знаком и значением, все же некоторые из них еще сохранились в различных языках или, по крайней мере, могут быть легко в них реанимированы.<sup>48</sup> И каждый, к примеру, может еще заметить или легко [93] выяснить, что наше «haben» как знак для обозначения прошлого времени первоначально было тождественно с глаголом, обозначающим владение [Besitzen]; что французское *-ment* как адвербиальное окончание возникло из латинского *mente*, что частицы «blo » [только, лишь] и «gar» [совсем, совершенно, очень] связаны с тождественными по звучанию прилагательными, «mittels» [при помощи, посредством, путем], соответственно, связано с «Mittel» [средство], «kraft» [в силу, на основании] — с «Kraft» [сила], «weil» [потому что] — с «Weile» [некоторое время, досуг], союз «w hrend» [во время, в продолжение, в течение] — с причастием первым от «w hren» [продолжаться, длиться], «χαρι» [в угоду, ради, для] — с «χαρις» [милость, расположение, услуга, дар]. И вообще некоторые предлоги и наречия явно возникли из падежа прилагательных или существительных, а некоторые союзы — из наречий и местоимений.

Прыжок от категорематическому к синкатегорематическому использованию языковых средств был везде самым отважным из всех прыжков. Указание на совершенно другое направление, которое исходило от *такого* применения знака, служившего обычно именем или даже предложением, — это указание было неуместным и очень неопределенным, и поначалу могло быть вообще понятным только благодаря благосклонному стечению обстоятельств, наметавших на нужное истолкование знака.<sup>49</sup> Здесь, в сфере синкатегорематического выражения, причем здесь в наивысшей степени, существенным оказыва-

<sup>48</sup> Даже там, где эти синтаксические вспомогательные представления исчезли из непосредственного языкового сознания, и осталось лишь некоторое различие в методе выражения одной и той же мысли, — это можно еще засвидетельствовать при помощи имени различия внутренней языковой формы. Ведь противопоставление языковой формы и языкового содержания охватывает, собственно, все, что относится, с одной стороны, к ее значению, а с другой — к средствам ее изображения. Эти средства являются опять-таки, или более внешними (как различия звуков), или более внутренними. К последним относятся различные синтаксические методы, даже там, где они уже не сопровождаются воспоминанием о более раннем значении использованных знаков. Случаи, где эти сопроводительные представления еще сохраняются и участвуют в достижении понимания (отчасти благоприятным, отчасти мешающим, сбивающим с толку образом), являются особенно соблазнительными в *там* смысле, в каком мы хотели бы здесь решить вопрос и предостеречь от ошибок.

<sup>49</sup> См. об этом (и к последующему изложению) мое сочинение: «Происхождение языка» [Ursprung der Sprache], S. 110 ff, а также: «Untersuchungen », S. 532 ff Именно потому, что этот переход значения всегда имел характер чего-то особенно неадекватного, часто даже принудительного, полное забвение внутренней формы было здесь в большинстве случаев решающим преимуществом для беспрепятственного использования (синкатегорематического) знака.

ется то обстоятельство, что указанным способом свое название вначале получало все, что было близким для чувственного созерцания, в особенности, локальные отношения, на которые легко и продолжительно могло быть направлено внимание говорящих и слушающих людей. Значение этих, ставших в первую очередь понятными знаков должно было потом послужить внутренней формой для обозначения темпоральных, каузальных, условных и других отношений, уже более отдаленных от чувственных созерцаний. (Вспомним о наших «*indem*» и «*nachdem*»<sup>50</sup> как обозначениях для темпоральных отношений, [94] а также, помимо этих обозначений, еще о «*da*» [тут, тогда, в это время; *но также*: тогда, то, так как] как частицах для обозначения и темпоральных, и каузальных отношений). Такое представление или образ служил фантазии достаточным основанием для целого ряда различных переносных значений, как это обнаруживает любой взгляд на многозначность наших падежей, предлогов, союзов и т. д. С другой стороны, для выражения одной и той же мысли не только в разных языках, но в одном и том же языке, могут найти применение синтаксические знаки с различной внутренней формой, различные так называемые грамматические категории. Однако обе стороны указанного отношения, — как раз из-за того, что и здесь смешивали внутреннюю форму со значением, — неоднократно упускали из вида. Там, где различные синтаксические способы выражения охватывали одно и то же содержание, не видели идентичности последнего<sup>51</sup> и, наоборот, [95] не замечали многозначности определенных грамматических категорий, потому что один и тот же образ, одна и та же внутренняя форма сопровождает различные значения.

<sup>50</sup> «*indem*» — в то время как; между тем как; *но также уст.*: так как, потому что; «*nachdem*» — после того как, когда; *но также ю.-нем.*: так как, потому что — *прим. перев.*

<sup>51</sup> Там, где различные языки обладают различными методами для выражения одной и той же мысли, там уже, поэтому, осмеливаются приписывать соответствующим народам различное мышление, а именно, тем народам, чей способ выражения кажется нам чужим, менее правильным и ясным. Такого рода наивные недоразумения обычно следует искать у представителей так называемой логической или всеобщей грамматики. Однако пример *Штайнталья* показывает, что ошибки эти встречаются не только в данной грамматике, но имеют место даже у авторов, которые вообще отвергают «логическую» трактовку языка, включая и тот ее смысл, который мы тоже разделяем. Можно ведь более очевидным образом смешивать то, что составляет предмет языкового выражения, с тем, что есть дело мысли. Это как раз случай *Штайнталья*, который из того факта, что в ананитском языке словосочетание «*Berg hoch*» [гора высоко] одновременно используется в случае наших выражений «*der Berg ist hoch*» [гора высока] и «*hoher Berg*» [высокая гора], сразу же делает вывод, что для соответствующего народа характерен был существенный «дефицит остроты мышления». Ведь народ этот, — аргументирует *Штайнталь*, — своим выражением «гора высоко» связал, собственно, не мысли «гора является высокой» и «высокая гора», но некую третью мысль, которая «индифферентна по отношению к первым двум». Будь это так, подобная ситуация, действительно, свидетельствовала бы об удивительном дефиците «остроты мышления». Однако я, по крайней мере, совершенно не в состоянии даже представить себе что-то среднее между предикативной связью представлений «высокая гора» и суждением «гора высока». Не в меньшем затруднении я бы оказался, попроси меня кто-то помыслить психический феномен, который был бы чем-то «нейтральным» между суждением и душевным переживанием. Стал бы *Штайнталь* из того факта, что, к примеру, китайцы используют выражение «*t ten-sehen*» [убивать-видеть] как выражение для пассивного действия (т. е. для нашего «*get tet werden*» [быть убитым]), тоже делать вывод, что они не могут отличить одно от другого? Тогда он должен был бы с таким же правом из нашего «*Get tet werden*» [убийство,

В особенности есть одно смешение, которое встречается у большинства логиков и грамматистов, и которое привело к тяжелым последствиям, с одной стороны, для логики и психологии, а с другой — для грамматики и ее преподавания. Я осмелюсь утверждать, что древняя и распространенная догма о двучленном характере суждения, а именно, что любое высказывание имеет субъект и предикат,<sup>52</sup> основывается на смешении внутренней формы и значения, как и часто цитируемое учение о том, что субъект и предикат якобы выражают отношение присущности [Inh renz] и субсистенции [Subsistenz].

То, что последнее представление (о субстанции и присущей акциденции) может в случае категорического высказывания часто подразумеваться не в собственном, а только в символическом или образном смысле, — это в последнее время уже было осознано и высказано некоторыми логиками. Но тогда это означает, если строже смотреть на вещи, что, хотя указанное представление пробуждается благодаря соответствующему высказыванию, относится оно не к значению, а только к внутренней форме средств выражения. Понятным же в качестве реминисценции упомянутое сопутствующее представление становится из тех случаев, когда категорическая формула, точнее, используемые в ней существительные, глаголы и прилагательные действительно обладали значением вещи, присущего ей действия и претерпевания или значением характерного для нее свойства. Указанное представление становится также понятным из переноса этих форм на другие случаи, [96] где им такое значение не полагается. Но подобно тому, как часто речь может идти лишь символически о присущности акциденции в какой-то субстанции, так в некоторых случаях и предикативность [Pr diziertwerden], кажущаяся высказанность [Ausgesagtwerden] предиката о субъекте является лишь образом, только внутренней формой соответствующего языкового обращения, и совершенно бесосновательно включать этот образ в значение. Генезис явления состоит здесь в следующем: способ выражения, который был приспособлен к оглашению определенного класса суждений (к двойным суждениям, т. е. к присуждению чего-то и отказу в чем-то [Zu- und Aberkennen]), был перенесен на совершенно другой класс (признание и непризнание [Anerkennung

убиение], а также из многочисленных других двусмысленностей и образов в наших средствах и методах выражениях, делать вывод о весьма странных смешениях и самой чудовищной «индифферентности» в нашем сознании.

С той же ошибкой (внесением языковых различий в выраженные мысли) связано, естественно, и приписывание Штайнталем бесформенного способа представления тем языкам, которые не имеют так называемых грамматических форм (Характеристика главных типов построения речи [Charakteristik der haupts chlichen Typen des Sprachbaues], S. 103, 317 ff.). Однако здесь уже нет места, чтобы подробнее рассмотреть эту диковинную фикцию.

<sup>52</sup> Некоторые заходят даже так далеко, что в случае любого предложения, включая вопросительные, повелительные и предложения, выражающие желание, говорят о субъекте и предикате как об их необходимых составных частях. Так считает, к примеру, Г. Пауль в своей книге «Начала истории языка» [Prinzipien der Sprachgeschichte], в целом содержащей много дельных мыслей. Это связано с его мнением, будто содержание всех наших языковых сообщений, вся наша психическая жизнь, редуцируется к представлениям и связям представлений, и сверх того, будто всякое сложение представлений есть предикация. Однако более строгая психологическая наука должна все это отвергать как неудовлетворительный способ анализа и истолкования фактов. Подробнее об этом см. немного ниже.

und Verwerfung]). Данный способ выражения испытал при этом функциональное изменение, а именно такое, что вместе с органом, служившим более ранней функции, сохранялось еще воспоминание о ней в качестве сопроводительного представления теперешнего значения. Так обстоит дело в случае так называемых безличных глаголов и предложений существования. В них на самом деле нет ни субъекта, ни предиката. К примеру, «es regnet» [идет дождь] не является настоящим субъектом, а «ist» в предложении «Gott ist» [Бог есть] не есть настоящий предикат; эти слова выступают лишь рудиментами субъекта и предиката. Однако они рождают их видимость, и как раз из-за нее были введены в заблуждение многие логики и грамматисты. Для подробного обоснования этого утверждения в данной работе уже нет места, поэтому я отсылаю читателя к моим статьям в «Ежеквартальном журнале по вопросам научной философии», а именно, как к тем, что уже напечатаны там,<sup>53</sup> так и к их продолжению, что вскоре последует.

Но в целом, уже и после сказанного стало достаточно ясным различие между значением и внутренней формой, стала очевидной необходимость их последовательного различения, — чтобы «логическое» рассмотрение языка могло жить и процветать.

И едва ли есть уже необходимость заметить в заключение, что без резкого и тщательного разведения тех двух моментов, которые оба произвольно были названы «содержанием [Inhalt]» языка, [97] оказывается невозможным и такое рассмотрение языка, которое в противоположность «логическому» можно назвать его психологическим рассмотрением. Я имею в виду исследование своеобразного хода развития значений в разных языках и языковых семьях, исследование, которое в новейшее время усердно практиковалось рука об руку с историей звуков. Помимо этого, я подразумеваю здесь выход на универсальное учение о переходе значений, основанное на указанных специальных исследованиях, в особенности, выход на всеобщие законы внутренней языковой формы, — выход, который пытаются сделать немногие, хотя многие о нем, по меньшей мере, мечтают.<sup>54</sup> Что же касается специ-

<sup>53</sup> «О бессубъектных предложениях и соотношении грамматики, логики и психологии» [ber subjektlose S tze und das Verh ltnis von Grammatik, Logik und Psychologie] a. a. O. Bd. VIII, в особенности: S. 75 98 und 161–192. См. также: «Психология с эмпирической точки зрения» [Psychologie vom empirischen Standpunkte] I, S. 266 290 и «О происхождении нравственного познания» [Von Ursprung sittlicher Erkenntnis], 1889, Примечание 22 и 23, а также Приложение («Миклосич о бессубъектных предложениях» [Miklosich ber subjektlose S tze]).

<sup>54</sup> См. попытки такого рода у *Бехтеля* (a. a. O.), а до него у *Куртмуса* (Grundz. Der gr. Etym. S. 92 f.), а также *Л. Тоблера* в его статьях, отмеченных, как обычно, здравым психологическим взглядом на вещи и широкими лингвистическими познаниями: «Опыт построения системы этимологии» [Versuch eines Systems der Etymologie] (Журнал по вопросам этнопсихологии [Zeitschrift f r V lkerpsychologie] I, S. 359 387). По нашему мнению — как это уже следует из вышесказанного — исследование законов изменения значения в значительной степени совпадает с исследованием правил и факторов, которые определяют выбор внутренней языковой формы. Тем самым не должно оспариваться, что наряду с этим собственным переносом значения есть еще сдвиг значения, при котором не внутренняя языковая форма и намеренная двусмысленность, но последствия смешения и неточности использования языка постепенно превратили мост между словами в сильно измененную функцию слов. Но несмотря на это, следует все же заметить, что тайн перехода значения, в любом случае, не поймет тот, кто прежде всего не осозна-

альных этимологических исследований, то очевидно, что надежное и основательное понимание соответствующей действительной функции наших языковых средств является для этого совершенно необходимым условием. Кто хочет объяснить происхождение чего-то, [98] тот должен прежде всего знать, что он перед собой имеет; кто хочет выяснить (в свете законов изменения звука) отношение прежних и актуальных функций языкового материала, понятого в его идентичности (т. е. проверить, есть ли между этими функциями связь, и какая именно связь), тот должен прежде всего иметь ясность относительно самих этих функций.

В каких границах разрешима вторая из названных задач, — это мы пока оставим без рассмотрения. Но если и многообразие особых, уникальных обстоятельств, при которых в различных случаях имел место выбор внутренней формы, не позволяет упорядочить<sup>55</sup> пеструю и запутанную груду фак-

ет природу и законы внутренней языковой формы. А рассмотрение *этой* формы мы весьма кстати назвали в данном сочинении психологическим, поскольку в первую очередь оно обращает свое внимание не на так называемое «логическое» в языке (или, выражаясь более общё, не на значение), а на разнообразные пути и методы, выбранные языком для выражения этого «логического» (или вообще значения). Причем и в указанных средствах языкового выражения больший акцент делается именно на их внутренних, душевных моментах, а не на внешних, звуковых. И психологическим это рассмотрение является также, без сомнения, потому, что оно непременно нуждается в помощи психологии. Ведь данное рассмотрение сводится, как было указано выше, к изучению законов ассоциации идей и деятельности фантазии, причем сводится именно в отношении услуг, которые оно могло оказать, и оказывало, при решении принципиальной задачи: построить без плана и соглашения целостную систему достаточных средств обозначения для реальной полноты явлений нашей внутренней жизни и ее содержаний.

<sup>55</sup> Об этой возможности, как мне кажется, нужно всегда помнить, чтобы не тратить попусту время и усилия на попытки разрешить неразрешимые проблемы. Для удовлетворения насущной потребности момента, творцы языка усердно использовали установление очень слабой, подвижной связи между старым и тем новым, что требовало названия. При таком бесплановом и беззаботном способе действий должно было в различных обстоятельствах распространяться не поддающееся учету свободное разнообразие в выборе внутренней формы для одних и тех же понятий и мыслей. В области перехода значений (как это часто подчеркивалось), действительно, почти все было сделано из всего, поэтому не только не может быть, даже отдаленно, речи о точном предварительном расчете тех взаимно сплетенных путей, что были уже пройдены, но и задним числом весьма часто они остаются неуловимыми или трудно постижимыми. Причина этого кроется не только в распаде или изменении звуковых формообразований, но также в трудности вживания нашими мыслями [*sich hineinzudenken*] в специфическую сообразительность фантазии языкотворца (к примеру, мнимое сходство предметов, которое ему каким-то образом причудилось), или совершенно особые обстоятельства, которые направляли его языковой выбор. Вероятно, в самых разных языках мы встречаем независимые друг от друга внутренние формы, оказывающиеся отчасти тождественными или аналогичными. К примеру, мы еще сегодня то и дело видим разных людей, которым иногда приходят в голову одинаковые сравнения или забавные обращения. Однако многие из сравнений, метонимий и синекдох, с помощью которых творился и формировался язык, все же своеобразны и очень индивидуальны в каждом из языков. Отсюда часто происходит затруднительное положение, в котором оказывается этимолог. И хотя я не хотел бы вместе с Августином сказать «*Ut somniorum interpretatio ita verborum origo pro cuiusque ingenio iudicatur*» (если при этом имеется в виду истолкование снов в обычном фантастическом смысле), однако же определенные трудности, с которыми сталкивается этимолог, вполне можно сравнить с теми, которые препятствуют полному пониманию снов на основе законов ассоциации идей. Родство этих двух сфер лежит именно в той (бесконечно многообразной в зависимости от обстоятельств) игре идей, с которой сталкиваются в каждой из них.

тов посредством правил средней общности и более специального характера (так сказать, посредством *axiomata media*), тогда остается, по крайней мере, возможным познание [99] самых общих законов внутренней формы языка. (При этом, конечно, имеется в виду, что от них не требуют иного характера, помимо того, что они имеют согласно природе вещей. Характер этот – нестрогий, эмпирический, довольствующийся констатациями вроде «часто», «как правило» и т. д.). Но это познание настолько обусловлено пониманием сущности и цели указанных явлений (и тем самым – резким отделением их от подлинной функции и значения языковых средств), что оно отчасти оказывается непосредственно тождественным этому пониманию, отчасти же есть его простое следствие, которое можно легко и широко верифицировать опытным путем. Рассматривая выше сущность и возникновение внутренней формы в отличие от значения, мы тем самым уже обозначили и наиболее общие законы ее своеобразной природы. Однако более подробное рассмотрение этой темы уже выходит за рамки настоящей работы.

*Перевод с немецкого Сергея Поцелуева*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках программы «Брентано и его школа: развитие проблем сознания и интенциональности в феноменологии и аналитической философии XX в.» (проект № 01-03-00280а).

Наиболее ценным и привлекательным могло бы быть обращение как раз к тем специфическим обстоятельствам, при которых в разных местах осуществлялось и продолжает осуществляться движение внутренней языковой формы, понимая при этом данные обстоятельства, насколько это возможно, из широкого обзора формы, а форму – из обстоятельств. А под указанными обстоятельствами (отчасти внешними, отчасти внутренними) я подразумеваю те, что подчинили себе принадлежащие друг другу явления развивающегося значения и наложили на них свой отпечаток. К внутренним обстоятельствам относилось то, что отчасти коренилось в прирожденных задатках, отчасти же в постепенно закреплявшихся привычках; я имею в виду определенное направление интереса и склонность к своеобразным способам перехода представлений и связи идей. Известно, что отдельный человек (отчасти благодаря врожденной предрасположенности, отчасти же вследствие привычки и особого направления интереса на основе специфического опыта) имеет свои особые дороги и зигзаги в связывании мыслей, в остротах и сравнениях, и как следствие, обладает своим неповторимым стилем. Подобно этому обстоит дело и в случае народа и его языка. Внутри родственного в данном смысле можно, поэтому, на основе совершенно особых переходов значения в одном месте пролить свет на смысловые переходы в другом.